

**БОГДАН
СУШИНСКИЙ**

**В
П**
Военные
приключения



**ЖИВЫМ
ПРИКАЗАНО
СРАЖАТЬСЯ**



Хроники «Беркута»

Богдан Сушинский
**Живым приказано
сражаться (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2008

ББК 84(2)

Сушинский Б. И.

Живым приказано сражаться (сборник) /

Б. И. Сушинский — «ВЕЧЕ», 2008 — (Хроники «Беркута»)

Поздняя осень 1941 года. Могилевско-Ямпольский укрепрайон. Группа лейтенанта Андрея Громова (Беркута) вынуждена оставить разбитый немецкой артиллерией дот и перейти к партизанским действиям в тылу врага. Но и оберштурмфюрер Штубер не теряет надежды разделаться с неуловимым русским... Роман является продолжением «Реки убиенных» известного писателя Богдана Сушинского и входит в новый цикл «Война империй», действие которого разворачивается на всех театрах Второй мировой войны.

ББК 84(2)

© Сушинский Б. И., 2008

© ВЕЧЕ, 2008

Содержание

Книга первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Богдан Сушинский

Живым приказано сражаться (сборник)

© Сушинский Б. И., 2008

© ООО «Издательский дом «Вече», 2008

* * *

Книга первая

Живым приказано сражаться

1

Спецкоманда оберштурмфюрера СС Штубера «Рыцари Черного леса», спешно сформированная управлением СД при штабе группы войск «Юг», прибыла в Подольск почти сразу же после вступления туда передовых частей вермахта и румынской королевской армии. В городе пока еще царил хаос: особые команды вылавливали по окраинам успевших переодеться в гражданское легко раненных окруженцев и дезертиров, «фильтровали» застрявших здесь беженцев; местная полиция, штаты тюрьмы и лагеря для военнопленных еще только формировались, а всевозможные армейские и гражданские тыловые службы только-только успели найти себе приют и распаковать ящики с документацией.

Однако вся эта неустроенность Штубера не смущала. Даже при такой неразберихе людям его профессии можно успеть очень многое. Тем более что в его подразделение из пятидесяти человек входили русские белоэмигранты, а также украинцы и немцы, давно являвшиеся агентами гестапо, службы безопасности или абвера и получившие хорошую подготовку в разведывательно-диверсионных школах. Кроме того, в большинстве своем «рыцари» уже приобрели достаточный опыт борьбы с подпольем и силами сопротивления в Польше, Бельгии, Франции... Вот почему командование было убеждено, что теперь они столь же эффективно смогут оказывать помощь гестапо, сигуранце и местной полиции в подавлении сопротивления на Украине.

Наспех обосновавшись в одном из зданий на территории давно опустевшего и вконец разграбленного женского монастыря, оберштурмфюрер затребовал списки схваченных в городе русских диверсантов и активистов, попытался выяснить контингент лиц, преследовавшихся большевистским режимом, а главное – наладить контакты с давно действовавшей в городе и его окрестностях немецкой разведывательной агентурой, досье на которую ему было предоставлено еще на правом берегу Днестра.

Но каково же было удивление Штубера, когда сам он вдруг получил совершенно неожиданное для него задание. Несмотря на то что фронт продвинулся уже на добрую сотню километров вглубь Украины, гарнизоны нескольких мощных дотов, составляющих когда-то узловую точку линии обороны по Днестру, все еще отказывались сложить оружие. Сначала их сопротивление показалось столь незначительным эпизодом этой войны, что командование 2-й немецкой армии даже не сочло необходимым сообщать о сражающихся дотах в штаб южной группы войск. Однако потери возрастали, доты оказывались во все более глубоком тылу, и нужно было что-то предпринимать еще до того, как они попадут в сводки, направляемые в штаб Верховного командования вермахта.

Смелый рейд оберштурмфюрера Штубера по тылам русских, который он провел, воспользовавшись операцией по захвату моста в районе Подольска, и его обстоятельная разведка большого участка укрепрайона сразу же принесли ему славу опытного и бесстрашного разведчика. О его подвиге уже было доложено руководству гестапо в Берлине, и оно санкционировало представление Штубера к награждению Железным крестом.

Само собой разумеется, что когда стало ясно: гарнизоны дотов будут продолжать это бессмысленное сопротивление до последней возможности, – в штабе командующего группой армий «Юг» сразу же вспомнили об этом офицере. Ему и было приказано возглавить операцию по подавлению четырех дотов южнее Подольска. При этом в приказе особо под-

черкивалось, что скорейшая капитуляция гарнизонов – задача не только сугубо военная, но и пропагандистская. Русские и их союзники на Западе не должны получать столь яркие примеры героической борьбы против непобедимой армии фюрера.

Да, действительно, не должны... Как человек, знающий цену пропаганде, Штубер был абсолютно согласен с этим. К тому же он с трудом соглашался верить, что гарнизоны дотов настолько непоколебимы. Просто в подобных ситуациях нельзя полагаться только на оружие и угрозы. Чаще всего, наоборот, нужно исключать и то, и другое. Именно поэтому, прибыв в расположение 120-го дота, уже третьи сутки осаждавшегося немецкой и румынской ротами (а до них здесь оставили до трети своих составов две другие роты, сражавшиеся на этом участке в момент захвата укрепрайона), он был настроен весьма оптимистично. По крайней мере, Штубер твердо знал, что нужно сделать, чтобы русские осознали всю бессмысленность сопротивления.

– Господин оберштурмфюрер, вверенная мне рота...

– Знаю, обер-лейтенант, знаю, – снисходительно остановил его Штубер. – Еще несколько таких бездумных штурмов, и от вверенной вам роты останется только список личного состава. Сколько вы потеряли здесь людей?

– Сорок два человека, – Штубер был одного звания с командиром роты, но обер-лейтенант хорошо понимал, что простое соотношение званий здесь недопустимо. Перед ним был эсэсовец, сотрудник гестапо, командир особой команды... О чем его заранее поставили в известность.

– А наши доблестные союзники? – кивнул он в сторону запоздавшего с докладом румынского капитана, который, грузно переваливаясь с ноги на ногу, пытался подбежать оставшиеся двадцать метров.

– Около шестидесяти.

– Я вижу, вы даже убитых не хороните. И раненых тоже, наверное, оставляете на поле боя?

– Раненых стараемся подбирать, господин оберштурмфюрер. Ночью. В доте снайпер, мы несем большие потери.

– Что, действительно снайпер? Со снайперской винтовкой? Или просто метко стреляющий человек?

– Разве это можно определить?

– При некоторой наблюдательности.

– Не знаю. Но стреляет он метко. Не дай вам Бог лично убедиться в этом.

Они начали разговор на верхней террасе долины, однако Штубер постепенно спускался вниз, поэтому обер-лейтенант и румынский капитан, доклад которого Штубер так и не пожелал выслушать, вынуждены были спускаться вместе с ним. При этом они все время с опаской поглядывали на дот.

– Здесь уже опасный участок. Он простреливается из дота. Мертвая зона – вон там, господин оберштурмфюрер, – показал обер-лейтенант Вильке на плато за амбразурами. – Мы можем подняться на крышу дота. А на амбразуры можно взглянуть вон оттуда, от реки, из окопов...

– Я видел их, когда в этих окопах еще были русские, а вы со своей ротой отсиживались в тылу за пятьдесят километров отсюда. А что касается крыши – это интересно. Как ведут себя русские?

– Вчера они пытались вырваться из окружения.

– Вот как? Весь гарнизон?

– Почти весь. В доте оставалось несколько добровольцев, прикрывавших прорыв. Это была яростная атака.

– И что же?

- Семерых мы убили. Остальных заставили уползти в свою каменную нору.
- Почему же не ворвались в дот на их спинах?
- Это происходило около двух часов ночи. Русские прорывались в двух направлениях.

Все произошло неожиданно.

– Понятно: вы не сумели организовать штурм дота, когда он, по существу, был небоеспособным. И еще... объясните мне: почему вы не выпустили русских? Почему не разомкнули кольцо окружения?

Обер-лейтенант удивленно смотрел на Штубера и не мог понять, шутит тот или говорит серьезно.

– Что вы так смотрите на меня, обер-лейтенант? Вам не понятен вопрос? Или размышляете над тем, как бы получше донести на меня в гестапо?

– Мы не имели права упускать этих русских.

– А загонять их назад, в дот, чтобы они сопротивлялись еще яростнее, обстреливая наши переправы и дорогу на той стороне, вы имели право? – Штубер не повышал голоса. Он говорил спокойно, с почти доброжелательной улыбкой на лице. Но именно это спокойствие гестаповца привело обер-лейтенанта в холодный ужас. – Русские вышли из дота. Почти весь гарнизон. Пошли на прорыв. Неужели непонятно, что на вашем месте любой мыслящий офицер бросал бы каждому русскому по плитке шоколада, только бы он подальше убрался отсюда? А вам, капитан, это тоже непонятно?

– Понятно, господин, э-э... – привстал капитан на носках, пытаясь разобраться в звании Штубера.

– А если вам все понятно, господа, тогда выстраивайте свои роты, сами становитесь впереди и строевым шагом, под барабанный марш, идите на амбразуры, выбивайте русских. Делайте что хотите, но чтобы до вечера их там не было. А я посмотрю отсюда, с этой крыши, как это у вас получится.

Капитан и обер-лейтенант переглянулись и опустили глаза. Сейчас-то они, конечно, поняли, что относительно психической атаки оберштурмфюрер шутит. Тем не менее каждый из них с ужасом подумал, что этот гестаповец и впрямь может заставить их снова пойти в лобовую атаку на дот. Ведь решались же они на такие атаки уже дважды!

– Да, господа офицеры, не зря не только в штабе армии, но и в штабе группы войск обеспокоены тем: в состоянии ли вы выполнить эту заурядную тыловую задачу.

– Но ведь есть же газы, господин оберштурмфюрер, – поспешил перевести разговор в другое русло Вильке. – Одна газовая атака – и...

– ...И весь мир узнает, что мы нарушили международную конвенцию, запрещающую использование химического оружия, – вновь улыбнулся своей обаятельно-садистской улыбкой Штубер. – Кроме того, я уже побывал в одном из захваченных дотов. Там есть фильтрационные устройства, бойцы снабжены противогазами... Так что оставим фантазии, обер-лейтенант.

– Может, допросим пленного, господин э-э... – нерешительно предложил толстячок капитан на своем скверном немецком.

– А что, взят пленный из гарнизона? – удивленно уточнил Штубер, глядя на Вильке. – Почему он до сих пор не здесь?

– Его взяли румыны, господин оберштурмфюрер, – поежился тот.

– Ах, его взяли румыны? Так доставьте его сюда вместе с вашими румынами.

Пока из ближайшего блиндажа доставляли пленного, которого специально придерживали в надежде, что он обратится к гарнизону с просьбой последовать его примеру, Штубер сел в свою переоборудованную из бельгийского полицейского фургона пропагандистскую машину и приказал двум помощникам поднести громкоговорители к мертвой зоне, поближе к доту.

– Русские солдаты, – сказал он спокойно и несколько устало. – С вами говорит командир осадного отряда оберштурмфюрер СС Штубер, – он не считал необходимым скрывать свою фамилию. Откровенность должна imponировать несчастным, которых загнали в каменный мешок. – Вы храбро сражались, до конца выполнив не только приказ командования, но и свой солдатский долг. И не ваша вина, что войска вынуждены были бежать, оставив вас на произвол судьбы. – Штубер помолчал, давая русским возможность осознать истинность сказанного им. Конечно, любой другой немецкий офицер сейчас же предложил бы красноармейцам уничтожить командира и большевиков и выйти с поднятыми руками. После чего им гарантируется... Однако Штубер считал этот ход примитивным. Заставить стрелять в людей, с которыми ты только что сражался насмерть! Или поступать против воли командира... Возможно ли это в условиях дота? – Да, вы храбро выполнили свой долг, и я как офицер ставлю вашу храбрость и преданность в пример своим солдатам. Но вы сами понимаете, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Гарнизоны многих других дотов уже сдались. Пора и вам тоже подумать о своем спасении. Предлагаю такой план сдачи в плен. Я отведу своих солдат еще метров на триста от дота. Вы выходите с личным оружием и складываете его возле входа. После этого состоится беседа, и вас на автомашине доставляют в ближайший лагерь для военнопленных. Со временем уроженцы освобожденных нами от большевизма мест будут отпущены по домам, к своим семьям. Раненых сразу же поместим в немецкий госпиталь, где им окажут необходимую помощь. Жизнь офицеру и коммунистам также гарантируем. Я заявляю это, имея полномочия штаба группы армий «Юг» войск Великой Германии. На размышление – двадцать минут. Для уточнения условий сдачи можете выслать парламентариев.

Штубер выключил микрофон, вышел из машины и, закурив сигарету, пошел к карнизу, под которым, на нижнем ярусе склона, находился дот. Повсюду сопровождавший Штубера фельдфебель Зебольд тотчас же подал ему бинокль.

– Вы, конечно, очень хорошо обратились к ним, – плелся Вильке вслед за оберштурмфюрером. – Но уверен, что они не сдадутся. Так просто они ни за что не оставят свой дот.

– Вы пророк, обер-лейтенант, – невозмутимо заметил Штубер. – А главное, только вы один знаете, как их можно выбить оттуда. Но храните это в тайне. С какой стати?

– Вот пленный, господин э-э...

– Не экайте, капитан. Если вам трудно запомнить мое звание – оберштурмфюрер, то называйте просто: мой генерал. Вашему коллеге, обер-лейтенанту Вильке, это будет imponировать больше, чем «э-э».

Он взглянул на пленного. Узкоплечий, приземистый, лицо посеревшее, осунувшееся, все в синяках и кровоподтеках; гимнастерка разорвана, левое предплечье перевязано грязным бинтом. Лет двадцать семь – двадцать восемь. Лицо простолюдина, без каких-либо признаков интеллекта. Судя по всему – из крестьян.

– Красноармеец Рогачук, – подсказал капитан, заглядывая в подсунутую ему унтер-офицером бумажку.

– Ты из гарнизона этого дота? – спросил пленного Штубер, расстегивая кобуру.

– Нет, – замотал тот головой, пытаясь отступить на шаг назад, но натолкнулся на конвоировавшего его унтер-офицера. – Я был в прикритии.

– А почему ты испугался? Ничего страшного, даже если бы ты был из гарнизона. Приходилось бывать в доте?

– Нет. Туда посторонних не впускали.

– Сколько там осталось солдат?

– Не знаю. Всего вроде было тридцать. Сейчас не знаю.

– Ясно. Сколько пулеметов?

– Не считал.

– Что – находясь в прикритии, не смог определить количество пулеметов?

– Да не определял я, – болезненно поморщился Рогачук. – Мне это ни к чему.

– Боишься выдать военную тайну? – поиграл желваками Штубер. Сейчас он с величайшим удовольствием разрядил бы в этого русского всю обойму. Но не время... – Ну ладно. Не стану принуждать тебя к этому. Последний вопрос, который военной тайной не является: как фамилия коменданта дота? Если ты не ответишь на этот пустяковый вопрос, я прикажу пригвоздить тебя штыком вон к тому клену.

Пленный молчал. Но за его спиной, оттеснив румынского унтер-офицера и двух солдат-конвоиров, уже стоял верзила-фельдфебель.

– Фамилия и звание офицера, который командует дотом? – повторил Штубер.

Ударом в голову фельдфебель сбил пленного с ног. Конвоиры услужливо подняли его, но фельдфебель сбил еще раз. И так повторялось трижды. Потом один из солдат полил на него из фляги, дал возможность сделать несколько глотков и, когда тот пришел в себя, поднял на ноги. Фельдфебель молча достал из ножен узкий длинный кинжал, обтер его об штанину и пошел на пленного. Тот попятился, споткнулся, но его подхватили под руки.

– Ответь, идиот, – по-дружески прошептал ему на ухо фельдфебель, схватив левой рукой за волосы, а правой приставив кинжал к глотке. – Мне уже пятерых пришлось зарезать. Он и тебя прикажет...

– Лейтенант, – еле выговорил пленный, ибо лезвие мешало ему говорить. – Кажется, Беркут. Так его называли.

– «Беркут» – это название дота. А фамилия лейтенанта? Его тоже так называли? Зебольд, уберите свой дурацкий кинжал, дайте поговорить с пленным. Так, значит, его тоже зовут Беркутом?

– Да, и младший лейтенант наш, и сержант называли его именно так.

– А фамилия?

– Ответь, – снова прохрипел на ухо Зебольд. – Он же заставит распять тебя.

– Кажется, Громов, – еле выдавил из себя пленный. – Да, я слышал: Громов. Но точно не знаю.

– Значит, лейтенант Громов, он же Беркут. Это уже кое-что. Как с тобой обращаются здесь, в плену?

Рогачук пожал плечами и с тоской посмотрел куда-то в сторону реки.

– Капитан, дайте возможность пленному помыться, накормите его, обеспечьте сигаретами и покажите фельдшеру. Завтра мы с ним еще поговорим.

Штубер посмотрел на часы. Объявленные двадцать минут давно прошли. Из дота никто не показывался. В сопровождении офицеров он спустился ниже, приказал фельдфебелю дать ему рупор... Но воспользоваться им не успел: в эту минуту оба орудия дота открыли огонь по дороге, ведущей к переправе, а пулеметчики сразу же пригнули к земле румынских солдат, высунувшихся было из окопов в предчувствии выхода гарнизона, которого ждали, словно пришествия Христа.

– Поздравляю, обер-лейтенант, – невозмутимо сказал Штубер, видя, как тот торжествующе улыбнулся. Очень уж не хотелось Вильке, чтобы Штубер оказался удачливее и хитрее его. – Этого и следовало ожидать. У вас есть радиосвязь с артиллеристами на противоположном берегу?

– Есть.

– Сколько там орудий?

– Четыре.

– От моего имени прикажите артиллеристам в течение получаса бить по амбразурам. Под их прикрытием врыйте в землю еще четыре орудия – уже на этом берегу.

– У меня их нет.

– Вон они, – показал Штубер на дорогу, ведущую вдоль берега реки. – Там, в долине, за развалинами, два орудия. Их нужно подогнать как можно ближе и поставить на прямую наводку. Кроме того, наверху ждут две танкетки. Подготовьте для них укрытия, в той стороне, где завод. Пусть бьют, сменяя друг друга. В перерывах между стрельбой и потом всю ночь держать амбразуры под ружейным огнем. Отберите в своих ротах по десять лучших стрелков. А я постараюсь заполучить для вас хотя бы одного профессионального снайпера.

– Спасибо, господин оберштурмфюрер.

– Да, вон, видите, на плато – трубы и бетонное отверстие. Это воздухонагреватели. Когда кончится обстрел, пошлите пару солдат, пусть забросают их гранатами и забьют камнями. Причем забьют так, чтобы туда не смог проползти даже муравей. Тогда русские будут дышать орудийной гарью. Это поднимет их боевой дух. И еще: через каждые два часа имитируйте пластунскую атаку. Пусть румыны, – Штубер замолчал и взглянул на стоявшего в стороне капитана, – ползком подбираются к доту, а в это время ваши стрелки будут бить по амбразурам.

2

После каждого взрыва дот вздрагивал, словно загнанный в яму-ловушку мамонт, который уже не в состоянии был ни спастись, ни ускорить свою мученическую гибель. Единственное, что ему еще удавалось, – это подавлять предсмертные стоны приступами глухой, гордой ярости: те, кто добивал его, не должны были слышать его стонов. Вот почему, когда начинались обстрелы, Громов все чаще приходил сюда, в дальний закоулок, где в углублении, уже внутри скалы, почти за пределами дота, был выдолблен небольшой колодец. Вода в нем оказалась удивительно холодной и по вкусу своему напоминала Громову воду лесного родника, который находился недалеко от его дома на Дальнем Востоке.

Возле колодца всегда стояло ведро, но, когда рядом никого не было, Андрей не пользовался им, а наклонялся и черпал кружкой. Ему казалось, что так, склонившись над колодцем, он даже улавливает источаемый им запах соснового леса. Того леса, из которого, вполне возможно, и пробилась сюда эта вода. Впрочем, пригоняла его сюда не жажда. Просто это было единственное место в доте, где, в виде небольшого подземного родничка, все еще пульсировала та естественная, завещанная Богом жизнь и где, созерцая ее пульсацию, лейтенант мог отсидеться, прийти в себя, осмыслить создавшееся положение.

Вот и сегодня, почувствовав, что от грохота, а еще от усталости и бессонницы, у него раскалывается голова, Громов подошел к колодцу, набрал в кружку воды и, вдыхая знакомый, почти пьянящий запах соснового леса, вдруг услышал... журчание ручейка. Дикость какая-то.

Прислушался внимательнее. «Галлюцинация? Не похоже. Галлюцинации – это чуть попозже, через несколько дней. Как зов с того света».

Он придвинулся поближе к стене, снова наклонился и ощутил, как из стенки колодца дохнуло на него сырым, могильным каким-то холодом. Нагнувшись еще ниже, лейтенант повернулся на бок и ощупал стенку. В двух местах пальцы его ушли в зияющую пустоту. Туда же постепенно уходила и вода.

«Только этого не хватало!» – с ужасом подумал он, поняв, что произошло. Строители дота не заметили, что от пустоты их отделяет лишь тонкая стенка камня. А сейчас, под взрывами бомб и снарядов, эта стенка дала трещину. Пока трещина захватила только верхнюю часть колодца и вода вытекает до определенного уровня. Но что будет завтра? После еще одного попадания бомбы? А без воды они больше двух суток не продержатся.

– Товарищ лейтенант, – налетел на него в проходе Степанюк. – Второй пулемет вышел из строя. Снаряд врезался в амбразуру и взорвался почти в доте. Ужицкий и Загойный убиты.

– Погибших – в спецотсек, – еле слышно проговорил Громов после тягостного молчания. – Опять потери. Почему мы так много теряем людей? Да, возьмите двух бойцов и заполните водой всю имеющуюся в доте посуду.

– Зачем? Ведь колодец...

– Очень скоро можем остаться без воды. В колодце трещина. Но говорить об этом бойцам не нужно. И еще... В доте есть максим, которым вы нас прикрывали. Попробуйте пристроить его на турель. На нем будем работать мы с Абдулаевым. Немцы не должны догадаться, что вывели из строя пулемет.

Сержант неуклюже козырнул и трусцой побежал к пулеметной точке. Глядя ему вслед, Громов подумал: «Хорошо, что я не отправил Степанюка и его людей наверх, как предлагал Газарян. К этому времени никого из них уже не было бы в живых. Атак погиб лишь Загойный». И сразу же поймал себя на том, что уже не воспринимает смерть этих двух людей так болезненно, как воспринимал гибель первых своих бойцов: Сатуляка, Рондова, Кожухаря... Что это, очерствение души? Безразличие, появившееся перед ощущением близости и неотвратимости своей собственной смерти? Одно из проявлений обреченности? Впрочем, как бы это ни объяснялось, бойцы не должны заметить его черствости.

Подумав это, Громов сначала зашел в отсек, где лежали убитые, в присутствии всех пулеметчиков попрощался с ними, и только потом пошел в свой командный... По привычке взялся за перископ, но почувствовал, что он не выдвигается. Странно... Разворотило трубу? Просто забило ее? Он открыл амбразуру и сразу же отпрянул: прямо перед ним вырос столб взрыва.

– Газарян! – крикнул он в телефонную трубку. – Слушай меня! Пушкари на том берегу совсем обнаглели. Ударь по одному из орудий своими двумя. Подави его к чертовой матери. Потом возьмешься за другое. Не думаю, чтобы после этого немцы пригнали туда еще несколько орудий. Они нужны им на фронте.

Газарян что-то ответил ему, но расслышать его слова комендант не смог. Его заглушил взрыв гранаты. Взрыв, который прогремел уже в самом доте.

Андрей выскочил из отсека, огляделся. Снова взрыв. Где-то в районе санчасти.

– Мария! – крикнул он. – Что там, медсестра?!

– Немцы! Немцы забрасывают нас через трубы! – услышал в ответ голос Коренко. – Они угробят всю нашу вентиляцию!

«Вот оно что! Впрочем, и это еще не самое страшное. Куда страшнее будет потом, когда они начнут забивать вентиляцию камнями».

– Держитесь подальше от труб! – посоветовал он. – Где Мария?!

– Возле Роменюка. Он бредит.

Час от часу не легче. Утром Кристич сказала ему, что у Симчука тоже плохи дела. Рана начала гноиться, нужна операция, которую сама она, тем более здесь, в доте, сделать не в состоянии. А значит, все кончится гангреней. И мучительной смертью. Однако чем он мог помочь ему? Имеет ли он право удерживать раненых в доте? Имеет ли право обречь их на физические и духовные страдания? Но что же тогда – открыть дот и сдать в плен? Сдать дот, в котором еще несколько суток можно вести бои, сковывая вокруг себя как минимум две роты солдат и батарею орудий? Нет, на это он не пойдет. Тогда что же делать? Может, разрешить покинуть дот только раненым и медсестре?

– Товарищ лейтенант, это я, сержант Вознюк из 119-го.

– Слушаю тебя, сержант. Как вы там? Еще держитесь?

– Да трое нас осталось. Всего трое. Один пулемет и винтовки. Что делать?

– Сражаться, сержант, – холодно, жестко ответил Громов. – Сражаться, пока есть такая возможность.

– Но ведь они взорвут дверь и ворвутся. Тут раненые говорят, что надо бы сдать. Сколько можно мучиться?

– Много раненых?

– Одиннадцать человек, товарищ лейтенант. Шесть из них – тяжело. Что с ними делать?

Страшно смотреть на их мучения.

– Да, страшно, – согласился лейтенант, думая еще и о тех раненых, за судьбу которых, за их мучения несет ответственность он сам.

– Я хотел разрешить им выйти. Вынести их. Но побоялся. А дот комбата не отвечает.

– И правильно побоялся. Устав не допускает сдачи в плен ни при каких обстоятельствах. Пока мы живы, приказ для всех один: сражаться! Еще раз поговори с бойцами. Лучше обречь себя на мучительную смерть, чем на позор плена.

– На словах оно, ясное дело... Но тут – сама жизнь...

– Именно о жизни, а не о словах я и толкую. Напомни раненым, что они солдаты. И что во все века, во всех крепостях мира раненые разделяли судьбу своих гарнизонов.

– А ведь так оно и было, – согласился сержант.

После разговора с Вознюком лейтенант сразу же попробовал дозвониться до Шелуденко, но дот действительно не отвечал.

«Может, ведут бой и просто некому поднять трубку?» – подвернулась спасительная мысль. Громову не хотелось верить, что дот Шелуденко замолчал навсегда. Уже отчаявшись услышать в трубке чей-либо голос, лейтенант покрутил ручку еще раз и... вдруг до него долетел слабый, будто идущий из глубокого колодца, голос комбата:

– Ты, Громов? Ты... Прощай, лейтенант...

– Что случилось, товарищ майор?!

– Сожгли они нас, гады. Огнеметами. В амбразуры. Всех, сволочи... Я один. Тоже... ранен... Тут у меня ящик... с гранатами. Сейчас... ворвутся, но я... Сними... Прощай, Беркут...

Андрей еще немного подержал свою трубку, но уже понял, что трубка майора упала в гнездо, а значит, больше он не услышит ни голоса комбата, ни того, что там произойдет.

Громов сел на нары и, обхватив голову руками, прижался затылком к стене. Он устал. Это уже какая-то нечеловеческая усталость, вместе с которой приходит безразличие к жизни. Он настолько устал, что в какую-то минуту вдруг сказал себе: «Поскорее бы это случилось! Нет сил. Пора кончать... Я сделал все, что было в моих силах». Но через минутную другую все же сумел одернуть себя: «Не паникуй! Как там орал этот Штубер: “И не ваша вина, что войска бежали, бросив вас на произвол судьбы”? На психику жмет. Но ведь нас не на “произвол”, нас для борьбы оставили. В конце концов, кто-то же должен был остаться. Точно так же, как кто-то первым должен пойти на прорыв обороны противника... и погибнуть; первым ворваться в окоп – и тоже...»

– Камандыр! – закричал в трубку Газарян. – Наблюдай! Нэт адын арудий!

– Вижу, Газарян, вижу, – ответил Громов, не поднимаясь с места и не открывая глаз. – Молодец, младший сержант!

– Это тебе мой подарок, камандыр. От солнечной Армении!

– Спасибо, друг. Настоящий солдатский подарок. Береги людей.

– Но должэн тэбэ сказать, что они закапывают в землю два танка. На южный сторона, наблюдаешь?

– Ничего, значит, твоим гайдукам скучать не придется.

– Гайдуки, – сразу же пригасил свою радость младший сержант. – Правильно говоришь. Пусть будет, как хотел Крамарчук: гайдуки. Ребята привыкли. Какой был камандыр, а, какой камандыр! Но... война. Сейчас ничтожим другой арудий!

– Андрей, они забивают трубы камнями, – выросла на пороге Мария. – В отсеках становится трудно дышать.

– Так они и должны поступать. У них нет другого выхода. Чувствую, что у них появился знающий, толковый офицер, настоящий профессионал войны.

– Ты бредишь, лейтенант!

– Почему «бредишь»? Рассуждаю. Там ведь тоже офицеры. Они тоже выполняют приказы.

– Но ведь там, в отсеках...

– Я все понял. Иди к раненым. Успокой их.

– Андрей...

– Идите к раненым, санинструктор Кристич. Ваше место рядом с ними.

Как только она вышла, Громов выдвинул из-под нар ящик с лимонками, быстро распахнул несколько штук по карманам, две взял в руки и побежал к выходу.

Видно, фашисты почувствовали себя настолько уверенными, что даже мысли не допускали, что кто-то из гарнизона может вырваться наружу и выбить их с крыши. Этим Громов и воспользовался. Пригнувшись, вскочил в окоп, потом, уже в конце его, выскочил, сделал несколько шагов в сторону и, увидев пятерых или шестерых солдат, таскающих камни, метнул в них одну за другой две лимонки, затем под пулеметным огнем залег, достал из кармана и бросил третью и только тогда спрыгнул назад, в окоп. К стенам и крикам раненых он прислушивался уже сидя под приоткрытой дверью. Что отвечать Марии, как вести себя, слушая ее донесение, – он не знал, зато сделал то единственное, что мог и обязан был сделать. Так пусть же это ему зачтется.

«Ну что ж, теперь до вечера здесь, на плато, они успокоятся», – решил Громов спустя несколько минут, поднялся, сплюнул и спокойно, словно к себе в дом, вошел в дот.

3

Лейтенант погасил свет в отсеке и, прильнув к прикладу карабина, всматривался в фиолетовый квадрат долины, открывавшийся ему с командирской амбразуры.

Помня о том, как немцам удалось сломить дот Шелуденко, он теперь установил круглосуточное дежурство у амбразур, ибо могло случиться так, что однажды, открыв заслонки, они увидят в каждой из них трубу огнемета. И это будет последнее, что они смогут увидеть.

Неожиданно замолчал вечером и 119-й дот. Еще час назад, когда Коренко (который сменил теперь Петруня у телефонов и стал как бы ординарцем коменданта) позвонил туда, Вознюк сообщил, что немцы пытаются взорвать входную дверь.

– Что значит «пытаются»? – подоспел к этому разговору Громов. – У вас уже некому стоять у амбразур? Отбивайте их от двери!

– Считай, некому, – прохрипел в трубку Вознюк. – Отвоевались мои казаки-казаченьки.

– Мы сейчас ударим по твоему доту. Прямой наводкой.

– Ударь. Пусть он и для фрицев станет могилой.

После этого трубку уже никто не поднимал. Хотя линия связи действовала. Неужели и там огнеметы? Да, вермахтовцы постараются использовать ту же тактику, которую использовали у дота Шелуденко. Немецкая страсть к шаблонам.

Громов посмотрел на часы. Без пятнадцати два. Бойцы отдыхали, сменяя друг друга у амбразур. Сегодня осаждавшие вели себя осмотрительнее обычного, но именно эта осмотрительность немцев показалась лейтенанту подозрительной, а недоброе предчувствие помешало закрыть заслонку и лечь.

Тем не менее, задумавшись, он слегка задремал, а очнулся от того, что услышал топот ног. Потом вдруг – длинная автоматная очередь, еще одна, душераздирающий крик человека,

которого, очевидно, ударили ножом и, словно галлюцинация... голос Крамарчука, который Громов узнал бы среди тысячи других: «Гайдуки, подъем! Открывай!»

Этот голос мог явиться ему во сне, он мог слышаться от усталости... Однако Громов ни на секунду не засомневался в том, что действительно слышит Крамарчука и, схватив с лежака автомат, пулей вылетел из отсека.

– Камандыр! Там – камандыр! – пронесся мимо него Газарян, чуть не сбив Громова с ног. А вслед за младшим сержантом бежал еще кто-то из бойцов. – Он вернулся!

– Откуда он взялся? – на ходу пытался выяснить лейтенант.

Уже открывая дверь, Громов слышал, как на крыше дота взорвалась граната, но все же бросился в окоп. Правда, сразу же о кого-то споткнулся, а сзади на него навалился тоже споткнувшийся Газарян... И лишь тогда, уже из этой кучи, вдруг снова возник невероятно спокойный голос обиженного Крамарчука:

– Что ж вы, хриstopродавцы, навалились на меня, как на родного батька, всем гарнизоном?!

И еще им очень, просто-таки сказочно, повезло, что кто-то, выскочивший уже пятым или шестым, в последнюю секунду успел скосить появившегося на крыше фашиста. Правда, при этом шмайссер убитого скатился и больно ударил Громова по голове. Но это уже мелочи.

Потом несколько минут все они выползали из этой свалки, а те, что оставались у амбразур, прикрывая их, напропалую строчили из пулеметов и автоматов, хотя не видели вблизи ни одного фашиста. Из окопов, не понимая, что происходит, тоже начали палить по доту из всех видов оружия. Но когда прогремели первые разрывы снарядов, все пятеро уже были за спасительными стенами дота.

Только теперь Громов заметил, что Крамарчук одет в немецкий китель, а на голове каска. И с ужасом подумал, что, появившись сержант в таком одеянии перед амбразурой, он, не задумываясь, выстрелил бы в него.

Бойцы сразу же обступили Крамарчука, ожидая рассказа о его похождениях, но, как всякий опытный балагур, он не спешил: достал пачку немецких сигарет, угостил всех, кому досталось, и, выждав, пока гарнизон успокоится, сказал:

– Однако покурим, гайдуки, потом. Сейчас снова все к амбразурам. А я выползу и соберу автоматы и гранаты. Но главное: один немчура тащил на спине какую-то хре... извиняюсь, здесь женщины... Так вот тащил ее – и не дотащил.

– Где лежит этот немец? – сразу же насторожился лейтенант.

– Недалеко. Это он заорал, когда снимал его ножом.

– Это огнемечик. Что-то вроде баллона на спине? Точно, огнемечик. Пойдем вместе. Нужно захватить огнемеч.

– Хватит, камандыр, – решительно оттеснил его в сторону Газарян. – Не нада делать все сам. У тебя есть боец, который тоже хочет показать свой храбрость. Я пойду. И ты, Канашов. Тебе, дарагой, доктор Мария давно свежий воздух приказал.

Вслед за ними пошел на вылазку и Коржевский. Желая хоть как-то пособить им, Каравайный, Абдулаев и Кравчук тоже вышли в окоп, чтобы принимать оружие и прикрывать товарищей. Появление Крамарчука сразу же привнесло в жизнь дота неожиданное оживление, породив при этом волну не то чтобы храбрости, а какого-то отчаянного азарта. Прикажи им Громов в эту минуту прорвать окружение, они, конечно же, вышли бы все как один и смяли фашистов. Вышли – и смяли. Но лейтенант не приказал. Он просто не готов был к прорыву. Да и не об этом он сейчас думал.

Нет, этой ночью им действительно везло. Как может везти только в последний раз. Тем, кто уже обречен. Вылазку Крамарчука и остальных бойцов осаждавшие своевременно не засекли, поэтому трое румын, пытавшихся выяснить, что там произошло возле дота, были расстреляны группой почти в упор. Пока остальные бойцы группы собирали автоматы и гра-

наты, Газарян тащил то, что сейчас больше всего интересовало Громова: баллон с карбином, то есть огнемёт. Потом лейтенант несколько минут выяснял, что там к чему в этой немецкой конструкции и как пользоваться этим, вроде бы примитивным, но в то же время страшным оружием, а бойцы тем временем успели вынести на плащ-палатках и оставить среди убитых фашистов тела двух своих товарищей. Завтра, подбирая своих, немецкие санитары подберут и этих бойцов, наверное, решив, что они погибли во время перестрелки, и, конечно, похоронят. Это все, что гарнизон мог сделать для своих погибших товарищей.

– Значит, тогда, во время прорыва, ты сумел прорваться через окружение – это ясно, – сказал Громов, когда все, кроме оставшихся у амбразур Конашева и Абдулаева, собрались в красном уголке. Сам Крамарчук, скрестив ноги, сидел на полу и не спеша курил дорожную, очевидно, у офицера добытую сигарету. – Что было дальше?

– Дальше?.. Если бы мы поднажали именно там, где прополз я, наверняка все и вырвались бы. Хотя, конечно, вру: не все.

– А как же те, двое, моих? – подал голос Степанюк, которому места в отсеке уже не хватило, и он стоял за проемом двери.

– Храбрые были ребята твои бойцы, сержант. Да только жаль, что нет их больше. А вот Ивановский – тот действительно спасся бы. Он ведь вслед за мной пополз. Только я замер под пулеметом, а он обошел меня и дальше... По-моему, его просто не заметили. Тогда я тоже начал карабкаться вслед за ним. Вдруг смотрю: он, отчаянная душа, к пулемету свернул. С тыла решил. Спасение – вот оно! Еще несколько метров – и вершина склона, а за ней – кустарник и лес, и дальше – все места знакомые. Но Ивановский-то не уходить собрался, а подавить пулеметное гнездо. К нему ползет. Атам их двое. Ну, беру курс на пулемет, чтобы, значит, привлечь внимание к себе. В воронку заполз – откуда до пулеметчиков можно гранатой дотянуться. Так свой же близко, мешает. Вдруг слышу: очередь из автомата. Но убил Ивановский только одного, а другой – за нож. Схватились и катятся прямо на меня. Я же – дай Бог разобраться, где свой, где чужой... И сразу за пулемет... Неужели не слышали, как я по немцам прошелся?

– Да не поняли сначала... – вставил Петрунь. – Вроде бы бьет, а кто и по кому?..

– А, то-то же. Фрицы тоже сначала не поняли. Но когда мы отползли и ударили по верхней галерке ихней – сразу всполошились. Ну, пулемет у нас ручной. Я вижу, что свадьба наша уже без музыки, поднялся, отхожу, кричу Ивановскому: «Драпай, браток!» А он метров десять отбежал и осел, хрипит. Несколько метров протащил его... Нет нашего Ивановского. От своей пули-крестницы, говорят, не уйдешь.

– Но, может, он только ранен?

– Ты что, командир, считаешь, что я смог бы оставить его раненого? Храбрый у вас политрук был. Здесь, в доте, мы его храбрости как-то не замечали. Вроде как все. А там он дал бой. – Крамарчук сделал глубокую затяжку, помолчал. – Ну, тогда я что? Я – к окопам. Но то ли заело у меня что-то в пулемете, то ли патроны кончились – ей-богу, так и не понял. Словом, отбросил эту бандуру подальше и даю драпа окопами. Они пустые, снарядами разрытые. Но вижу: от поселка – тоже немцы. Забился я в полуразрушенный блиндаж с обвалившейся крышей, залез под нары и только там докумекал, что я же совсем безоружный: автомат-то мой где-то возле пулеметного гнезда остался. Хоть повесься: ни гранаты, ни ножа... И даже камня под рукой. Ну, думаю, вытащит меня сейчас немчура за шиворот, встряхнет и начнет мной в футбол играть. Верите: лежу, потом холодным обливаюсь. Когда слышу: румын орет. А я ж тут среди молдаван жил, все понимаю. «Он здесь! – орет. – Убит!» Это он на Ивановского наткнулся. Потом уже и немцы закричали. Пулемет нашли, убитого русского нашли и, считай, успокоились. Так, для порядка, потоптались возле окопов, фонариками посветили, но, видно, решили, что только один и прорвался. Посидел я в этой норе еще с часок. И тоска взяла. Дом рядом, всего за несколько километров. Но чувствую: не пройти

мне туда. Пошарил по окопам, нашел засыпанную глиной трехлинейку с тремя патронами – и в перелесок. Немцы-румыны кругом, а я – как заяц под елкой. Когда вижу: Ганс-обозник с термосом на спине марширует. Согнулся в три погибели, тяжело ему. Аж пар из него валит. Конечно, пришлось помочь вояке. А вечером, как только стемнело, в его мундире и с его автоматом присоединился к румынам. Смотрю: несколько человек сюда снарядились. Я через окопы – и за ними. Румыны сзади кричат: «Немец, стой! Куда? Там дот!..» А мне туда и нужно. Ну а дальше вы все знаете.

Крамарчук еще раз затянулся, пустил сигарету по кругу и только сейчас заметил, что все удивленно уставились на него, как на седьмое чудо света.

– Вы чего? – не понял сержант. – Что – думаете, бульки пускаю?

Бойцы молча переглянулись.

– Чего ж ты сюда вернулся, Крамарчук?! – первым нашелся Конашев.

– Как это – «чего»? Куда же мне еще возвращаться? – не понял сержант.

– Ну ведь ты уже был там, на свободе. Зачем же ты сюда?.. Господи, мне бы только вырваться отсюда...

– Так ведь я и не прорывался, – пожал плечами Крамарчук. – Мы ж как договорились, вон, с товарищем лейтенантом? Отвлекаем фашистов, прикрываем отход. И назад. А тут получилось, что вроде бы я обманул и дал драпа. Целый день на душе муторно было. Представлял себе, как вы тут меня чехвостите. А я что? Если бы уходить хотел, я бы так и сказал...

«Узнают ли когда-нибудь историки войны, – подумал Громов, слушая Крамарчука, – Украина, вся страна или хотя бы этот небольшой городок, под стенами которого мы умираем, о том, какие человеческие драмы здесь разыгрывались, какое мужество и какую преданность проявляли эти ребята – Крамарчук, Коренко, Газарян, Ивановский? Неужели все, что мы здесь пережили и что нам еще предстоит пережить, так и останется для потомков мрачной тайной этого подземелья? Это было бы несправедливо. Слишком несправедливо...»

Утром на позициях немцев южнее дота вдруг начали рваться снаряды. Они падали нечасто, хаотично, но стрелявшие клали их именно в ту просматриваемую с «Беркута» долину, в которой фашисты накапливались и в которой уже были готовы к стрельбе два танка.

– Крамарчук! – приказал по телефону Громов. – Немедленно поддержи из обеих орудий. Это ожил 121-й дот. Степанюк, причесывай пулеметами всех, кто высовывается из окопов.

А сам вызвал по телефону «Сокола». Трубку поднял Родован.

– Наблюдаю работу твоих пушкарей, лейтенант. Возьми чуток ниже, поближе к реке. Мы поможем.

– Нет уже моих пушкарей, Беркут.

– Как нет? А стрельба?

– Я сам стреляю. Телефон переключил сюда, на артотсек. Только что погибли санинструктор и двое моих последних бойцов.

– И даже санинструктор? – невольно вырвалось у Громова.

– Последнюю атаку она отбивала, стоя у амбразуры. Мужественная была женщина. В городе осталось двое ее детей. – Они оба помолчали. – У меня здесь вблизи цели для орудия нет. Так что пока видишь разрывы моих снарядов – лейтенант Родован жив. Последняя гастроль, Беркут, последняя гастроль...

– Держись, лейтенант, держись.

– Извини, некогда... Гости с того берега.

Орудие «Сокола» замолчало через полчаса. Минут десять Громов пытался дозвониться до Родована, но безуспешно. Потом вдруг орудие ожило еще раз. Снаряд лег почти возле

дота. Очевидно, лейтенант послал его, уже будучи тяжело раненным. Это был его прощальный выстрел. Прощальный салют своему погибшему гарнизону.

4

Когда утром Штубер подъехал на своей, как он называл ее, фюрер-пропаганд-машинен к доту, пленный Рогачук уже стоял там, в окружении румынского капитана, немецкого оберлейтенанта и двух немцев-конвоиров. Приказ оберштурмфюрера был выполнен в точности: пленный побрит, гимнастерка постирана, правый рукав оттопыривался, скрывая бинты, которые – Штубер в этом не сомневался – были свежайшими.

– Пленного – к машине, – бросил оберштурмфюрер, приказав фельдфебелю Зебольду включить магнитофон.

Рогачук подошел и остановился в двух шагах от дверцы, но Штубер велел ему подойти еще ближе.

– Военнопленный, для того, чтобы поместить вас в лагерь, где вас будут содержать со всем надлежащим для подобных лагерей обеспечением, нам нужно выполнить небольшую формальность. Вы обязаны ответить мне, как представителю немецкого командования, на несколько вопросов. Ваша фамилия, имя, отчество?

– Рогачук Степан Петрович.

– Воинское звание?

– Красноармеец, – неохотно отвечал пленный.

– Вы сдались в плен добровольно?

– Раненым взяли. Раненым. Яне сдавался.

– Почему вы так заволновались? Мы не собираемся выдавать вас русскому командованию, которое могло бы предать вас суду. Даже если бы вы оказались перебежчиком.

– Но я не перебежчик. Я не сдавался, – с тупым упрямством твердил пленный, слегка раздражая Штубера.

– Как с вами обращались теперь, здесь, в плену? – сделал ударение на слове «теперь».

– Ну, вчера хорошо.

– Вы ранены, поэтому вам оказали медицинскую помощь: перевязали, сделали укол и, конечно же, накормили?

– Да... вроде.

– Жаль только, что нечего курить? Могу предложить сигарету. Что вы говорите, оберлейтенант? Солдаты угощали его? Немецкие солдаты действительно поделились с вами сигаретами, военнопленный Рогачук? У вас целых две пачки?

– Да. Только я у них не просил. – Он вынул из карманов обе пачки и бросил на землю перед автомашиной. Но те, кто будет слушать запись допроса, этого не увидят.

– Отказавшись сдаваться в плен, сражаясь в окружении, вы совершили тяжелое преступление против армии фюрера. На вашей совести много погубленных жизней, много сирот среди детей немецких солдат, которые пришли сюда с единственной целью: очистить вашу землю от коммунистической чумы. Однако немецкое командование гуманно. Вам будет сохранена жизнь. Вы будете помещены в лагерь для военнопленных, организованный прямо здесь, недалеко от Подольска. Да, кстати, вы местный? В каком селе проживает ваша семья?

– В Грушевом.

– Очевидно, это недалеко отсюда?

– Недалеко.

– В таком случае вам повезло. Вы дадите точный адрес, и комендатура лагеря сможет сообщить о вас родным. А те, в свою очередь, смогут повидать вас. Через три месяца, если вы

будете хорошо работать в лагере и не будете нарушать дисциплину, вас освободят и отправят домой.

– Уж вы отправите!.. Это точно.

– Речь идет не только о вас. Так поступают со всеми, кто ведет себя благоразумно.

В тот день, в перерывах между жесточайшими обстрелами дота, Штубер четырежды пропускал эту запись через громкоговорители, призывая гарнизон «Беркута» прекратить бессмысленное сопротивление и разделить божескую участь своего товарища.

– Мужественные защитники дота, – завершил он четвертый сеанс агитации, сидя в своей фюрер-пропаганд-машинен, – вам предоставляется последняя возможность почетно сдаться в плен. Немецкое командование гарантирует вам жизнь. Если через два часа вы не поднимете белый флаг, все вы будете уничтожены, а ваши семьи и ближайшие родственники казнены через повешение. Пусть примером для вас служит мудрость красноармейца Рогачука, не пожелавшего умирать за бредовые идеи большевиков. Можете завидовать: он спокойно дождался конца войны в обнимку со своей Марусей.

Когда прозвучали эти слова, Рогачук, поняв, для чего немцам нужно было подсовывать ему сигареты и стирать гимнастерку (его уже предупредили, что он еще должен будет подойти прямо к амбразурам дота и попытаться уговорить гарнизон сдаться), сбил с ног конвоира, выхватил винтовку и...

Выстрелить он не успел. Хладнокровный выстрел Штубера, прямо в лицо, прогремел на секунду раньше.

Но о том, что произошло тогда возле фюрер-пропаганд-машинен, в доте уже никогда не узнают.

5

Громов отпустил ручки максима и почувствовал, что затерпшие, почти онемевшие пальцы не хотят разгибаться, а в руках все еще пульсирует лихорадочная дробь пулемета.

– Все, Коренко, на этот раз мы их тоже умыли, – он повернулся на спину и лег на покрытый шинелью дощатый лежак. – Немного отдохнем, потом поднесем патроны... Обычная фронтовая работа.

Сегодня фашисты вели себя как ошалелые. Они пригнали сюда еще целую роту румын, и теперь атака следовала за атакой, а в перерывах между ними, сверху, с крыши, их забрасывали гранатами. Очевидно, кому-то из высокого немецкого командования понадобилось во что бы то ни стало сегодня же оседлать амбразуры и, окончательно заблокировав дот, сделать его существование бесполезным. Никакими иными причинами эту их ошалелость объяснить было невозможно.

Да, тактика противника изменилась. Громов понял это еще утром и теперь все больше убеждался, что фашисты не жалеют ни снарядов, ни людей.

– Отдохните, товарищ лейтенант. Вы устали больше, чем я. Тем временем притащу колодки с лентами. Вдруг опять нахлынут.

Громов молча кивнул. Дважды отказавшись уйти из дота вместе с ранеными, Коренко теперь всячески старался быть полезным. Он помогал Громову у пулемета, становился с винтовкой к амбразурам, постоянно помогал Марии ухаживать за ранеными и даже варил для них на примусах консервные супы, заменив при этом убитого Зоренчука. И хотя ничего героического этот парень вроде бы и не совершал, будь его, Громова, воля, он присвоил бы ему звание Героя Советского Союза как истинному, беспредельно преданному присяге солдату.

– Глотни, лейтенант, – появился в отсеке с флягой в руке Крамарчук. – Трофейный шнапс, вчера раздобыл.

Громов сделал пару глотков и, отдав флягу сержанту, закрыл глаза, пытаясь хоть немного подремать.

– Это за Конашева. А теперь отпей и за второго моего пушкаря, – присел Крамарчук напротив него на каменную плиту, служившую пулеметчикам и столом, и лавкой.

– Ты о чем?

– Нет больше первого орудия, лейтенант. Конашев убит. Коржевский тяжело ранен в голову. И, видно, тоже не жилец на этом свете.

– Как это произошло? – почти шепотом спросил Громов, чувствуя, что ему перехватило горло.

– Танк проклятый. Пока Газарян додалбывал одного, другой пристреливался по нему. Хорошо хоть сам Газарян уцелел.

Еще несколько минут Громов лежал с закрытыми глазами, и Крамарчуку показалось, что лейтенант уснул. Но как только сержант поднялся, чтобы тихонько уйти, Андрей тоже начал подниматься.

Амбразура первого капонира была закрыта заслонкой. Тусклая, опоясанная металлической сеткой, лампочка едва освещала отсек, и казалось, что все это происходит глубокой ночью в погребальном склепе. Дав лейтенанту взглянуть на убитого, бойцы унесли его в санитарный отсек, а Мария и Коренко продолжали бинтовать голову Коржевского. По тому, как бинт у него на глазах пропитывается кровью, лейтенант понял, что жить Коржевскому оставалось несколько минут, от силы час. Мария и Коренко тоже, очевидно, понимали это, однако продолжали старательно перевязывать.

– Что будем делать с ранеными, товарищ лейтенант? – тихо спросила Кристич, когда Андрей присел возле нее. Все бойцы ушли из отсека, Мария попросила их об этом, чтобы дать раненому больше воздуха, и перевязку заканчивала уже сама.

Громов погладил ее щеку, убрал упавшие на глаза локоны волос. Ему показалось, что в них уже блеснула седина, но не захотел поверить этому.

– Что будем делать с ними? – снова спросила она, мягко положив с помощью Андрея голову раненого на разостланную шинель. – Роменюк в очень тяжелом состоянии. У Симчука рана гниет, нужна операция. Пирожнюка – его ранили сегодня утром – еще можно спасти. Только нужен уход. А сейчас вот Коржевский... Раненым не хватает воздуха. Прежде всего – воздуха.

– В перерывах между боями будем заносить их в пулеметные отсеки.

– Там тоже удушье. Много пороховой гари. Нужно что-то делать, Андрей, – уже почти прошептала она, обняв Громова за голову и прижимаясь лбом к его лбу.

– Нужно делать именно то, что мы делаем, Мария. Отражать атаки, уничтожать противника и держаться.

– Но ведь они же мучаются.

– Такова их солдатская судьба.

– Я тоже измучилась, Андрей.

– Вижу, милая, вижу. И видеть это – тоже... очень больно.

Громову хотелось напомнить Марии, что он давал ей шанс избежать страшной участи, но решил, что делать это сейчас – бессмысленно и жестоко. К тому же он просто не представлял себе, что бы они здесь делали с ранеными, не будь с ними Кристич. В доте неплохая аптека: шприцы, обезболивающие, снотворные, антисептические средства... Осмотрев ее впервые, Громов даже поразился, что о них так основательно позаботились. Но разобраться во всем этом мог только медик. Не зря Шелуденко строго запрещал отпускать санинструкторов.

– Кстати, умоляю: если меня ранят, если я буду без сознания... словом, в любом случае я не должен попасть в плен. Я покажу тебе, как пользоваться пистолетом....

– Что ты, Андрей, что ты?!

– Бойцы могут побояться добить командира. А я не должен попасть в плен, не имею права. Ты поняла меня?

– Не нужно об этом, Андрей. Как ты можешь приказывать мне такое? Нет, на такое я не способна.

– Ты сделаешь то, что я приказываю.

Громов помог бойцам отнести раненого в санчасть и вернулся в артиллерийскую точку. Все ожидающе посмотрели на него. Чувствовалось, что они подавлены случившимся и что каждый сейчас думал об одном и том же: А ведь следующее попадание может оказаться моим»...

Лейтенант молча достал из ящика снаряд, заслал в казенник и, наведя по висевшим на стене данным для стрельбы на понтонную переправу, дернул за шнур.

– Петрунь, снаряд!

– Есть снаряд.

Он на глазок довернул так, чтобы снаряд ушел на дорогу возле моста, и снова выстрелил.

– Разрешите, товарищ лейтенант, – опомнился наконец Крамарчук. – У нас это будет получаться нежнее.

– Да, сержант, к орудию. Огонь по переправе. Держать под контролем шоссе. Бить по окопам, по любой цели. У нас еще уйма снарядов. Дот должен держать фашистов в постоянном страхе. Мы здесь не для того, чтобы скулить, а чтобы заставляя врага бросать на дот все новые и новые силы.

6

– Какой день сражается гарнизон этого дота, обер-лейтенант?

– В полном окружении – шестой.

– В таком случае ценю ваше олимпийское спокойствие. На вашем месте я бы слегка нервничал. В городе уже появились листовки: «Беритесь за оружие! Бейте оккупантов! Пусть вас вдохновляет пример бойцов бессмертного дота». Вас это не смущает?

– Господин оберштурмфюрер, в моей роте осталось двадцать человек. Двадцать, понимаете?!

– Но вас укрепили еще одним взводом и ротой румын. Кроме того, танки, полевые орудия, пулеметы...

– Атаки в лоб ничего не дают, господин оберштурмфюрер. Мы только губим людей.

– Вы меня растрогали, обер-лейтенант. Прикажете таким же образом растрогать командира вашей дивизии?

Ясное дело, Штубер понимал, что этих бездумных атак нужно было избегать. В конце концов русские никуда не денутся. Их ресурсы ограничены. Но существовал приказ: атаковать, захватить, казнить всех оставшихся в живых... И отменить этот приказ он не мог. Кто-то там, из командования, все еще не хотел понять, что они столкнулись с необычным дотом. Впрочем, остальные тоже были необычными. Однако их сопротивление удалось сломить довольно быстро. В устах командования это был сильный, убийственный аргумент.

«Вот именно: убийственный, – саркастически ухмыльнулся Штубер этому определению. – В чем нетрудно убедиться, выслушав доклад обер-лейтенанта».

Штубер не верил в то, что в «Беркуте» особо подобранный гарнизон. Просто речь должна идти о талантливой организации обороны. О том, что комендант дота умеет поддерживать дисциплину, да и сам, наверно, храбрый человек. Как все-таки много зависит от офицера!

– Привезли женщину, господин оберштурмфюрер.

– Да, вижу, – ответил тот, неотрывно глядя на склон долины, в который врос этот проклятый дот. – Ну, ведите ее. Где этот ваш унтер-полиглот? Пусть идет вслед за ней и выкрикивает все, что ему велено сказать.

Проходя мимо Штубера, женщина затравленно посмотрела на него и вдруг замерла от удивления. Она, конечно, узнала его. Штубер лишь указал дом, но с самой женой Крамарчука, Оляной, не беседовал. И все же Оляна сразу признала в нем того «красного командира», которого кормила, которому давала приют и с которым...

Вспомнив об их невольном грехе, Оляна вздрогнула: «Господи, за что ж Ты так караешь меня?!» – прошептала она.

И все же Оляна ожидала, что Штубер заговорит с ней, объяснит, что происходит, кто он такой. Однако оберштурмфюрер лишь смерил ее холодным, презрительным взглядом и брезгливо махнул рукой. Еще позавчера он верил, что этот пропагандистский трюк с женой артиллерийского сержанта, возможно – заместителя коменданта, повлияет на моральное состояние гарнизона. Но сейчас он уже не сомневался в том, что ни к сдаче дота, ни к чему бы то ни было конкретному это не приведет.

Тем не менее отменять задуманный им «акт устрашения» Штубер не собирался. Конечно, куда эффектнее было бы вывести сюда семью всех солдат гарнизона. И расстрелять. Но женщина твердо стоит на своем: никого из красноармейцев, сражающихся в доте, она не знает. Ее избивали, обещали жизнь... Бесполезно.

– Зольдатен гарнизона! Эта женщина есть жена зержанта вашей дот – Крамарчук. Зержант не хотел здаваться в плен, он совершал преступления перед армией фюрера. Мы вынуждены будем казнить ее через повешаний, – Штубер видел, как, выкрикивая все это в рупор, унтер-офицер прятался за спину женщины, однако не считал его трусом. Знал, что русские действительно попытаются убить унтер-офицера. – Мы также будем казнить всех родственников, всех жен зольдатен ваш дот. Сдавайтесь, и вы спасете себя и свой родственник. Если вы, Крамарчук, сейчас не сдадитесь, немецкий зольдатен будет маленько баловался с вашей женой и потом ее повешать.

Штубер поморщился и брезгливо передернул плечами. Этого «маленько баловался» в его тексте не было. находка самого унтер-офицера. Или обер-лейтенанта. Но, кто знает, может, именно она по-настоящему ударит по психике и Крамарчука, и других.

Красноречие унтер-офицера иссякло. Казалось, вся эта огромная долина замерла в ожидании развязки той страшной трагедии, что разыгрывалась на склоне ее «амфитеатра».

– Ахтунг, ахтунг! – послышалось из дота. Штубер тотчас же бросился в окоп и, пригибаясь, побежал вниз, поближе к тому месту, где стояли унтер-офицер и женщина. – Говорит комендант дота! Сержант Крамарчук не может сдать. Он погиб и не может спасти свою жену! – В бинокль Штубер видел только кончик рупора. Лейтенант предусмотрительно прятался за косяк двери. – Если вам, господа офицеры, дорога честь воинского мундира, прекратите этот гнусный спектакль и освободите ни в чем не повинную женщину! То, что вы делаете, есть грубейшее нарушение Женевской конвенции об обращении с мирным населением на оккупированной территории!

Комендант говорил на вполне приличном немецком, с легким акцентом, который можно было принять за польский или словацкий. Но главное – Штубер узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи других похожих голосов. Потому что голос этот принадлежал тому лейтенанту, который пленил его и допрашивал у моста. Конечно, это был Беркут, он же Громов.

– Унтер-офицер! – крикнул Штубер. – Вернитесь с женщиной в окоп.

– Прикажете прекратить? – со вздохом облегчения поинтересовался обер-лейтенант, глядя, как унтер-офицер тащит плачущую и вырывающуюся из его рук женщину. Судя по всему, он еще не привык к подобным методам психологического воздействия.

– Следовало бы. Но уже нельзя. Русские не должны думать, что они нас усовестили. Дайте им час на размышление. И еще... Передайте этому мини-Антонеску, капитану, что я запрещаю переводить румынским солдатам смысл сказанного комендантом дота. Дайте мне эту железку. По доту не стрелять! – крикнул он, когда унтер-офицер подал ему рупор. И румынский капитан сразу же повторил это по-румынски. – Господин комендант! Я гарантирую вам неприкосновенность! Выйдите из дота, и мы проведем переговоры!

– Цель переговоров?! Выдача погибшего сержанта Крамарчука?!

– Вам пора сдаваться!

– Я не собираюсь вступать в переговоры о сдаче дота! Гарнизон будет сражаться до последней возможности!

– Похвально, господин лейтенант! Тогда дайте слово офицера, что гарантируете мою неприкосновенность, и я войду в «Беркут», чтобы поговорить с вами! Это не будут переговоры! Это будет обычный человеческий разговор! Без излишней пропаганды!

Наступила пауза. Предложение, очевидно, застало коменданта врасплох, поэтому-то он и не торопился с ответом. И, возможно, советовался с бойцами гарнизона.

– Обычный человеческий разговор, оберштурмфюрер, возможен был только месяц назад, до войны. А сейчас это в любом случае будут переговоры офицеров двух враждующих армий!

– Почему вас это пугает, господин лейтенант?! Вести переговоры все же гуманнее, чем стрелять друг в друга.

– Гарнизон решил сражаться до последней возможности, и пока будет жив хотя бы один боец, вы в этот дот не войдете. Надеемся, что женщина будет освобождена! У меня – все.

«Ну что ж, по крайней мере, в порядочности этому лейтенанту не откажешь. Другой бы впустил меня и превратил в заложника. Или отдал на растерзание гарнизонных фанатиков-большевиков. Он на это не пошел. Благородно».

7

Когда время ультиматума истекло, гитлеровцы снова вытолкали из окопа жену Крамарчука. Теперь она еле держалась на ногах, платье было изорвано в лохмотья, волосы растрепаны. Два прятавшихся за ее спиной фашиста подталкивали ее все ближе и ближе к доту. По тому, что они выкрикивали и как вели себя, Громов определил: пьяны!

– Рус комиссар! – это был все тот же унтер-офицер, только шнапс сделал его русский язык еще более «изысканным». – Ты не выходишь здаваться! Твой фрау будет сейчас повешать! Все родственник будет повешать на береза!

Все, кто был в доте, забыв об опасности, сгрудились у амбразур. Бойцы не открывали огонь сами, считая, что и немцы, получив приказ офицера огня не открывать, будут придерживаться этих условий. И когда неожиданно прозвучал одинокий винтовочный выстрел, в пулеметном доте как-то не сразу обратили на него внимание. Но долетевший из амбразур артиллерийской точки крик Крамарчука: «Снайпер! От амбразур! Хомутов убит! Снайпер!» – дал понять Громову, для чего понадобился фашистам этот повторный спектакль.

– Убейте меня, слышите?! – долетел вслед за этим слабый голос женщины. – Убейте меня!

– От амбразур! – повторил лейтенант, но на какое-то мгновение раньше прозвучал второй выстрел. И снова крик: «Сволочи! Чобану!».

– Убейте же меня! – снова закричала женщина, поняв, что происходит. – Николай, родненький! Убейте же!

– Абдулаев! Снять снайпера! – приказал лейтенант. – Снять его! Всем отойти от амбразур!

– Так нельзя, командир, – ворвался в отсек Крамарчук. – Так дальше нельзя. Сейчас, Оляна! Сейчас, потерпи!

И, оттолкнув Громова, припал к пулемету.

Очередь, еще очередь, крики, стоны, пальба в ответ... С силой оторвав Крамарчука от максима, Громов подался ближе к амбразуре и увидел, что женщина лежит навзничь, рядом с ней, держась за грудь, осел один из фашистов. Другой пытался уползти, но возле самого окопа рванулся, словно хотел проскочить оставшееся расстояние, и сразу же рухнул на землю.

– А теперь пристрели меня, лейтенант, – тихо сказал Крамарчук, когда пальба снова стихла. Он сидел на полу возле пулемета и, обхватив руками колени, раскачивался из стороны в сторону, словно напевал тоскливую песню или самозабвенно молился. – Ну пристрели ты меня! Пристрели! Как собаку! Сейчас же!

Громов присел возле него, обнял за плечи. Что он мог сказать этому отчаявшемуся человеку? Храброму, мужественному человеку, которого никто не осмелился бы упрекнуть ни в слабости, ни тем более в жестокости. С таким человеком он мог теперь только помолчать.

– У тебя не было другого выхода, – сказал он то единственное, что способен был сказать сейчас этому бойцу. – На твоём месте я, наверно, поступил бы точно так же. И потом точно так же просил бы пристрелить. Время рассудит. – Крамарчук почему-то снова взялся за ручки пулемета, но Громов с силой оторвал его руки. – Наберись мужества. Опомнись. Нельзя так. Нужно идти к орудию. К орудию, сержант. Бойцы ждут приказа.

Громов поднялся, уже с порога оглянулся. Крамарчук сидел, обхватив колени, и тупо смотрел в пол. Слова, которые он шептал, были одновременно и молитвой, и проклятием.

– Гранишин, – позвал ефрейтора. И когда тот появился из своего отсека, негромко проговорил: – Побудь с Крамарчуком. Ни на шаг. Понял?

Когда Андрей вошел в отсек второго орудия, Степанюк стоял над Хомутовым на коленях, застегивая его гимнастерку и, не скрывая слез, плакал, почти по-детски всхлипывая.

– Последний боец моей роты, товарищ лейтенант, – тихо, сквозь слезы объяснил он, держа в руках красноармейскую книжку и еще какие-то бумаги, найденные во внутреннем кармане Хомутова. – А ведь три недели назад было нас сто двадцать человек. Сто двадцать молодых ребят, а, лейтенант?..

– Поднимитесь, сержант! – неожиданно резко приказал Громов. Хотя чувствовал острую необходимость опуститься на колени рядом с ним. Не хотел бы он дожить до того момента, когда придется вот так же, на коленях, стоять над последним бойцом своего гарнизона. Лучше уж пусть кто-нибудь постоит над ним. – Возьмите себя в руки. На вас смотрят бойцы. – И твердым, не допускающим промедления голосом приказал: – Лободинский, Кравчук, отнесите погибшего в спецотсек. Каравайный, пойдете вторым номером к сержанту Степанюку. Абдулаев – вторым номером к Гранишину, вместо погибшего Чобану. Только сначала снимите снайпера, Абдулаев, снайпера...

– Вот он, камандыр, – прижавшись плечом к откосу амбразур, Абдулаев осматривал изрытый воронками, засеянный валунами и осколками камней склон долины. – Смотрю, нет ли другой.

– Где? – подошел к нему Громов, берясь за бинокль.

– Вон, яма небольшой. За валун прятался. Халат совсем желтый был, как глина измазанный. Когда наш пулемет женщина стрелял, он чуть-чуть приподнялся, посмотрел, откуда стрелял, зачем стрелял.

– С первого выстрела, что ли? – не поверил Громов.

– Почему удивляешься, камандыр? Абдулаев – охотник. Разреши ночью туда ходить. Там ружье с биноклем. На солнце блеснул. Абдулаев видел. С такой Абдулаев фашиста на том берегу бить будет. Как соболь.

Громов внимательно осмотрел воронку, убитого. Но винтовки не видел. Потом незаметно перевел бинокль на женщину и двух убитых немцев, которых пока никто не пытался затащить в окоп. Видно, смерть снайпера подействовала на них.

– Держи их в страхе, Абдулаев. Чтобы ни один патрон зря. Иди к пулеметчикам. Оттуда ближе к воронке. Никого не подпускай к снайперу. Но если попытаются затащить в окоп тело женщины, не стреляй.

– Андрей! Товарищ лейтенант, – вошла в отсек Мария. – Коржевский скончался. Только что. Я ничего не могла сделать. И Роменюку очень плохо.

– Я понял, Мария, – устало кивнул Громов. – Попроси Лободинского и Кравчука унести умершего от раненых. Ничего не поделаешь, над этим подземельем смерть витает уже давно. Сержант Крамарчук, к орудию! – приказал он, увидев в ходе сообщения сержанта. – Огонь по боевым порядкам врага, шоссе и переправе. Не давайте фашистам восстанавливать мост.

Поздно вечером бойцам Крамарчука удалось выиграть дуэль с танком. Когда эта стальная махина, пылая, вышла из укрытия и попятилась в сторону завода, в доте все, кроме Крамарчука, ликовали так, словно вернулись свои и пришло долгожданное освобождение из каменного плена. Но даже в этой суете Крамарчук сумел со второго снаряда добить ее, уже пятившуюся. Каждый снаряд, посланный сейчас во врага, Крамарчук воспринимал как личную месть фашистам. Он был мрачным и, казалось, успел за эти несколько часов основательно постареть. Но все же не хандрил, не впадал в истерику, а сражался. В той ситуации, в которой оказался сейчас гарнизон, это было очень важно. И лейтенант был признателен ему за мужество.

«Ну что ж, – облегченно подумал Громов, поздравляя бойцов с этой небольшой победой. – Смерть витает не только над дотом. Она витает и над окружившими нас врагами».

8

– О, поручик Розданов! Честь имею. Не знаю, как вам шла форма белогвардейца, но в форме лейтенанта вермахта вы вполне смотрите. – Встретив Розданова во дворе здания, в котором находятся гестапо и абвер, Штубер не удивился. – Он понимал, что каждая из этих организаций имела свои причины для того, чтобы интересоваться особой поручика. Уточнять же, в какую именно он направляет свои стопы сегодня, – не имело смысла.

– Я бы предпочитал смотреться в форме офицера... ну, допустим, русской освободительной армии. Это больше соответствовало бы моим патриотическим чувствам.

– Чего вы не можете простить немцам, Розданов? – загадочно улыбнулся Штубер. – Первой империалистической, похода нашего экспедиционного корпуса во время вашей Гражданской, когда вы сами умоляли кайзера спасти вас от большевиков? Нынешней кампании, благодаря которой снова оказались у себя на родине?

– Я всего лишь сказал, что шинель русского офицера для меня предпочтительнее.

– Ну уж со мной-то вы можете быть абсолютно откровенны, поручик. Независимо от того, чем кончится эта война и кем будут считать вас потомки – героем или... – все еще ухмыляясь, Штубер выдержал классическую паузу и снисходительно, с ног до головы осмотрел Розданова, – немецким предателем, агентом гестапо. Знаете, всякое может случиться.

Но все равно мы с вами до конца дней своих останемся братьями по оружию. Пройти такой путь по тылам красных!.. Так что, откровенничая со мной, исходите из этого обстоятельства.

Впрочем, Розданов и не опасался Штубера. И по тому, как тот вел себя во время их рейда через Днестр, и по тому, как потом спокойно, не теряя чувства превосходства, прорывался к своим, поручик определил: оберштурмфюрер – птица более высокого полета, чем тысячи других шпииков абвера и агентов СД, готовых донести на каждого, кто осмелится высказать хоть малейшее сомнение в гениальности идей фюрера.

– Но мы не можем существовать сами по себе, – заметил Розданов.

– Почему не можем? Очень даже можем. Не вдвоем, естественно. Подобрал группу профессионалов международного класса, создав хорошую разведывательно-диверсионную школу. А война, с ее окопами, полевыми госпиталями и лагерями для военнопленных, пусть катится своей страшносудной колеей.

Розданов удивленно посмотрел на Штубера, он плохо понимал, о чем это вдруг повел речь оберштурмфюрер. О какой такой группе профессионалов?

Во двор въехала крытая машина, и два эсэсовца буквально вышвырнули из ее кузова человека в изодранной гражданской одежде. Босые ноги, искалеченные руки, лицо, шея... – все было покрыто комьями запекшейся крови.

Вышедший из кабины тип в форме русского железнодорожника самодовольно ухмылялся, глядя на офицеров с видом победителя, вернувшегося с Ватерлоо местного значения.

– Не хотите поприсутствовать, господа? Превращение великомученика-комиссара в иуду. Ровно через полчаса он начнет источать список всего городского подполья.

– Ты плохо кончишь, Звонарь, – презрительно оскалился Штубер. – Этот человек имеет еще меньшее отношение к подполью, чем я – к сицилийской мафии.

– Заблуждаетесь, оберштурмфюрер. Знать русский язык, язык аборигенов, – перешел Звонарь на русский, – еще не значит – знать их нутро. Пшел, пшел, мразь лапотная!

– Не имеете чести? – кивнул в сторону этого типа Штубер, когда тот пошел к двери.

– При чем здесь честь?

– Бывший ротмистр Полонский. Кличка Звонарь. Офицер врангелевской контрразведки. Начал работать на нас, как русский белоэмигрант, еще в Болгарии, сразу же после бегства из Крыма. Помог отправить на тот свет добрый десяток бывших белоофицеров, которые, как оказалось, не с должным энтузиазмом восприняли приход к власти Гитлера. С удивительной наивностью доверяются ему люди.

– Мы с вами – не чище этого провинциального мерзавца Звонаря.

– Мы с вами – фронтовики. Это меняет дело. У этого человека есть определенные способности. Но это еще не талант контрразведчика. Обычный платный агент полиции – и не более. Дальше подсадной утки он никогда не поднимется. Даже здесь, на своей родине. Но, что самое странное, его это вполне устраивает.

– Насколько я понял, он никогда и не был фронтовым офицером. В армии Врангеля офицерами становились даже недоучившиеся гимназисты. Потому что к тому времени многие настоящие офицеры уже или погибли, или ждали своего часа по явочным квартирам захваченных большевиками городов.

– А некоторые к тому времени уже ударно трудились разносчиками булочек в парижских пригородах. Бог с ними, у каждого своя дорога через Синайскую пустыню. Кстати, о пустыне... Мне стало известно, что вы командуете охранным взводом.

– У Звонаря нет оснований завидовать мне.

– Напрасно вы так. Очистка ближайших тылов. Стычки с окруженцами. Истребление диверсантов. Рыцарская романтика войны, – философствовал Штубер, выводя Розданова за ворота. У него оставалось совсем мало времени, а в СД, считал он, поручика подождут. – Или, может быть, я уже чего-то не понимаю в том, что здесь происходит, ваше благородие?

Розданову не нравилась издевательская манера беседы, которую уже не впервые навязывал ему Штубер. Он предпочитал бы, чтобы с ним говорили, как подобает говорить с офицером. Однако понимал, что с такой манерой оберштурмфюрера ему пока что придется мириться. В той судьбодробилке, в которую превратилась сейчас Германская империя, заступничество влиятельного эсэсовца, сына генерала Штубера, ему еще может пригодиться. Притом не раз. Тем не менее он ответил ему в том же духе.

– Похоже, в этом уже никто ни черта не может понять. По крайней мере те, кто пытается понять саму сущность войны и философствовать о ней, сидя на окраине этого, извините за выражение, Подольска, оплота провинциальных мерзавцев.

– Согласен, – совершенно невозмутимо согласился Штубер. – Оплот. Кстати, среди тех, кого вашему взводу приходилось доставлять в лагеря или подвалы гестапо и полиции, не попадались какие-либо интересные типы? Вы знаете, что меня интересует.

Розданов задумался. Первым, кого он вспомнил, был кавалерист Есаулов, рассказанный казак. Вслед за ним воспроизвелась в воображении громадная, источающая могучую силу фигура семинариста.

– А вы знаете, есть. Двое. По крайней мере один из них заинтересует вас основательно. Я ведь знаю, что вас интересуют не только те, кто поддается вербовке, но и люди, выделяющиеся своими характерами, взглядами и способом жизни.

– Они в Сауличском лагере?

– Да.

– Что за люди?

Розданов коротко обрисовал обоих пленных.

– Вы распорядились, чтобы их не пускали в расход?

– Нет, просто сдал.

– В машину, поручик.

– Но, господин оберштурмфюрер, я был вызван...

– В СД, гестапо? Это не имеет значения. Те, кто вас ждет, будут уведомлены из комендатуры лагеря.

Найти в лагере Есаулова и Гордаша оказалось довольно просто. Оба они в составе группы из шести человек попытались совершить побег. Лагерь был еще довольно плохо оборудован, и ночью этой группе удалось проникнуть за пределы ограды. Однако ровно через полчаса на окраине деревни они были замечены ночным полицейским патрулем. Одного полицаи убили, остальных под плотным огнем заставили залечь в небольшом овражке, в заброшенном саду. Там они и были схвачены подоспевшим взводом лагерной охраны.

Выслушав из уст коменданта этот рапорт-рассказ, Штубер попросил выделить ему кабинет и немедленно доставить Есаулова.

– Гордаша, значит, пока не нужно? – уточнил комендант – невысокий худощавый блондин с маленьким невыразительным лицом и тихим вкрадчивым голосом желчного сельского учителя.

– Насколько я понял, все пятеро находятся сейчас в отдельном бараке? – в свою очередь спросил Штубер, не желая дважды повторять, что он просит доставить ему именно Есаулова.

– В бараке номер тринадцать, господин оберштурмфюрер, – вежливо склонил голову гауптман. С сотрудниками СД и полиции безопасности он был приучен обращаться предельно вежливо. Независимо от их чинов. Он знал, что в этих службах почитались вовсе не чины. У многих высокопоставленных эсэсовцев, по обычным армейским меркам, они были довольно незначительными. Однако же они занимали какое-то особое положение в эсэсовской иерархии, в тонкостях которой гауптману разобраться было довольно сложно.

– Тринадцатый, говорите? Что ж, номер вполне подходящий.

– Они там вместе с двумя окруженцами, которые были захвачены в плен при попытке агитировать местное население за создание партизанских отрядов.

– Тогда почему эти окруженцы здесь, а не в гестапо или в полиции?

– В полиции их уже допросили. Передали сюда. Просили повесить перед строем пленных. В назидание.

– Провинциальные мерзавцы, – бросил доселе мрачно молчавший Розданов. Он сказал это по-русски, и гауптман ошалело посмотрел сначала на него, потом на Штубера. Рука его с поднесенной ко лбу фуражкой предательски задрожала. «Уж не диверсанты ли» – вычитал в его глазах Штубер и покровительственно рассмеялся. – Доставляйте, гауптман. Доставляйте со спокойной совестью и без каких-либо подозрений. А вы, Розданов, пойдите вместе с комендантом. Ваши старые знакомые будут рады встрече.

Есаулова привели минут через десять. Он был избит, гимнастерка изорвана, губы – две запекшиеся кровавые шишки.

Конвоир вышел. Комендант сел в сторонке на стул, и решил не вмешиваться в ход допроса. Однако, как выяснилось, вмешиваться, собственно, было не во что. Несколько минут эсэсовец молча стоял перед пленным, с презрительно-жалостливой миной осматривая его и при этом покачиваясь на носках. Пленный же стоял, опустив глаза, и, не поднимая головы, косясь, поглядывал на немецкого офицера.

– И эту дохлятину вы предлагаете мне в качестве будущего офицера казачьей части русской армии освободителей? Постыдились бы, поручик Розданов!

– Но ведь из казаков же, – принял условия игры поручик. Закинув ногу за ногу, он не спеша достал сигарету, долго стучал ею по портсигару и потом смачно, эффектно закурил.

– Этот – из казаков? Бросьте, поручик! Они теперь все выдают себя за казаков. Ате, настоящие, казаки или погибли на берегах Дона, сражаясь против жидо-большевиков, или же лежат расстрелянными на всем пространстве от Дона до Тихого океана. Кстати, Есаулов... Странная фамилия. Если мне не изменяет память, есаул – это казачий офицер. Отвечать, Есаулов!

– Так точно, офицер.

– К тебе-то оно как прилипло? Из беспризорников, небось? Давали клички: «граф», «князь», «есаул». Так потом и записывали, вместо фамилий?

– Офицеры в роду тоже были, – потупясь, объяснил кавалерист.

– Командир взвода в добровольческой казачьей части – такая должность вас устроит, красноармеец Есаулов? В звании лейтенанта, или подпоручика – как вам удобнее будет называть этот чин?

– Разве есть такие части – казачьи, добровольческие? – наконец-то поднял голову пленный, однако, спрашивая это, смотрел не на Штубера, а на Розданова. Понял, что эсэсовец все же не русский, а немец. Розданов же как-никак свой, из русских, из кавалеристов.

Поручик вопросительно посмотрел на Штубера. Лицо эсэсовца оставалось безучастным. Однако, после небольшой паузы, он все же заговорил:

– Создаем, Есаулов, уже создаем. Чем ближе немецкие войска подходят к Дону, тем больше казаков будет подниматься на борьбу за возрождение казачества. Казаки хотят жить так, как жили их предки: с казачьим кругом, выборными атаманами... Я ничего не перепутал, поручик Розданов?

– Все верно, господин оберштурмфюрер. Немцы победят большевиков и уйдут. А казачество на Дону и Кубани заживет своей жизнью, своим миром.

Они оба выжидающе посмотрели на Есаулова. Тот переминался с ноги на ногу и молчал.

– Почему молчите, казачий офицер? – напомнил о себе Штубер. – Надеюсь, я уже могу обращаться к вам как к казачьему офицеру? – оберштурмфюреру все еще казалось, что самолюбие Есаулова должно разыграть именно на этом неожиданном производстве в офицерский чин.

– Негоже, господа офицеры, мне, казаку, из армии в армию, из войска в войско бегать. Казак, он ведь прежде всего об своей воинской святости думать должен. Потому как без нее – какой же он казак?

– Дуришь, станичник, дуришь! – поморщился Розданов, недовольно мотая головой, словно пытался усмирить зубную боль. – Не к месту это. Неужели не понимаешь? Да и тебе ли, казаку потомственному, лезть во все эти философии? Что ты ведешь себя, как провинциальный мерзавец?!

– Не кипятитесь, поручик. Думаю, господин подпоручик войска казачьего понял нас. Просто ему нужно освоиться со своим новым положением. Поэтому не будем его торопить. Семь суток, считаю, должно хватить. Как-никак, за семь суток Господь Бог умудрился сотворить землю и небо. – А как только Есаулова вывели, сказал коменданту: – Сделайте одолжение, гауптман. Кого бы в лагере ни расстреливали или вешали, прихватывайте к месту казни и этого молодца. Как обреченного. По ошибке, которую вам случайно придется исправлять в последний момент. Пусть прочувствует все тернии пути обреченного.

– Яволь, господин оберштурмфюрер.

– И еще, окажите любезность: потребуйте от писарей составить список всех пленных, кто родом с Дона или Кубани.

– Или хотя бы служил в кавалерийских частях, – добавил Розданов.

– Вот именно. А что наш друг, рыцарь странствующего ордена монахов? – обратился Штубер уже к поручику. – Как он чувствует себя?

– Как мне сказали, целыми днями вырезает что-то из куска древесины. Говорят, он художник и скульптор.

– Даже так? – оживился Штубер. – Продолжайте, продолжайте. Это уже интересно.

– В бараке валялось несколько кусков липы, из которой плотники мастерили нары. Он раздобыл где-то кусочек лезвия перочинного ножа, две стекляшки... Много ли нужно умельцу? Древесина липы – мягкая, податливая.

– Не препятствовать, гауптман. Инструмент не отбирать. Предупредите старшего барака, своих подсадных. Барак объявить баракom смертников, однако самого Гордаша не трогать, пусть трудится. Через несколько дней навещу. Нет, Розданов, – резко выпалил Штубер уже садясь в машину, – тут вы не правы! Скульптор в бараке смертников – в этом что-то есть! Вырезать свое творение, зная, что оно – последнее, что завтра тебя казнят – это ли не стимул для истинного гения?

– В мыслях не было возражать, – удивленно уставился на него Розданов.

9

Снилась ему река. Но не та, у которой они держали сейчас оборону, а какая-то маленькая, почти неподвижная речушка с ивовыми берегами, гроздьями лодок у причала да ажурными деревянными мостками.

Громов осматривал эту речушку как бы с высоты птичьего полета и потому мог любоваться зелеными лугами по ту сторону ее, цепочкой миниатюрных, похожих на яркозеленые коврики, островков, водопадом у древней полуразрушенной мельницы...

Ничего с ним в этом сне не происходило. Не было ни дота, ни фашистов, которые врывались в их подземную крепость чуть ли не в каждом его коротком сне, ни пикирующих самолетов... Это был на редкость тихий, мирный сон. И единственная мысль, которая про-

низывала сонное полусознание Андрея, – что все это вне войны, что наконец-то он нашел тот, почти сказочный уголок земли, в котором война его уже не настигнет.

И кто знает, может быть, этот сон и подарил бы ему еще несколько минут невероятного блаженства, если бы и реку, и нависшую над ней тишину, и скособоченную башню мельницы не прошили вдруг короткие пулеметные очереди.

– Дот, к бою! – скомандовал он, прежде чем осознал, где это стреляют – во сне или наяву, и проснулся ли он сам, или же все еще находится в том уму непостижимом состоянии между сном и реальностью, в котором ему приходилось проводить уже пятую ночь.

– Не наблюдаю, командир! – ворвался в его дрему охрипший бас Крамарчука. – Отлеживаются бранденбурги, землю нюхают. Это их пулеметчики просто так очередь дали: то ли нервы, то ли для остратки, во спасение души.

«Он действительно не теряет самообладания или же все это игра? – всмотрелся в лицо сержанта Громов. – Хотя... если человеку удастся перебороть страх, скрыть его, пренебречь опасностью – это, конечно же, игра. Но чтобы так сыграть, нужно быть талантливо храбрым. А этот сержант в храбрости своей истинно талантлив. С такими можно держаться. Впрочем, держаться можно, как оказалось, и с такими, как Сауляк. Может, в этом и заключается высшее предназначение офицера: суметь выполнить приказ с любыми, даже самыми неподготовленными солдатами?»

Раздалась еще одна короткая очередь, и только теперь Громов поверил, что этот пулемет ему не приснился. Он подошел к амбразуре и осмотрел открывшийся квадрат склона. Рассвет только-только зарождался. Реки еще не было видно, однако ее уже довольно четко обозначал густой вал тумана. Этот вал образовывал нечто похожее на крепостную стену, и, может, поэтому река казалась значительно ближе к доту, чем была на самом деле.

Он видел, как прямо на глазах туман редел и, медленно испаряясь, поднимался вверх. Еще одно солнечное утро в пятистах метрах от реки. Еще одно утро его жизни. Сколько их осталось? Два, три?

«Артиллерией они нас не возьмут. Значит, что-то должны предпринять. Что? Попробуют затопить? Пожарные насосы... Река рядом. Колодец еще ближе. Шланги в воздухозаборники и... Но затопить они нас полностью не смогут. Так, по пояс... Может, газами? Конвенцией запрещено, да что им конвенция?..»

Снова пулемет. На этот раз из дота. Но очередь была короткой. Значит, ничего особенного. Нужно беречь патроны!

«Да, так, значит, они попробуют газами...»

– От амбразуры, командир. Сейчас начнут упражняться их задрипанные снайперы-самоучки.

Он снова задремал, прислонившись к станине орудия, но голос сержанта не дал ему уснуть. Надо пойти отоспаться. Еще хотя бы два часа. Хотя бы час. Пока не начался артналет. Или не пустили в ход авиацию. Дот дарит им роскошь, которой лишены сотни тысяч других людей, загнанных в окопы этой войны: у них есть нары. И даже белье. Надо держаться.

– Не прозевай, сержант, не подпусти к амбразурам. Пойду в пулеметную точку, посмотрю, что там у них, – Андрей взглянул на часы, поднеся их к амбразуре. – Через двадцать минут тебя сменят.

Удивительная и немного угнетающая тишина, гулкие шаги. Тусклое мерцание лампочек на стенах возле отсеков. Громов заглянул в главный каземат. Света не было. Из мрака доносилось тревожное бормотание и легкий храп кого-то из спящих. Лейтенант решил не будить сегодня никого. Пусть спят, пока не разбудят немцы. Даже странно, что ночью фашисты дали им передохнуть. Раньше ведь и по ночам стреляли. По нервам били, изматывали.

– Хорошо, что наведалься, командир. Тут вот дело такое... Немец с того света вернулся, – доложил Гранишин, как только Громов вошел в пулеметную точку. – Ни с того ни с сего взял и вернулся.

– Что значит с «того света»?

– А вот так: мертвый лежал, в воронке, вон там. После вечерней атаки. С гранатой рвался к амбразурам. Сам я его и скосил. А сейчас вдруг ожил, стонет, выкрикивает что-то. Несколько раз высовывался. Я его пробовал успокоить, но, кажется, не достал.

– Ну если он ранен, тогда зачем же. Тогда пусть.

– Так что, может, выползти и перевязать его? Пилюлю в рот сунуть?

– Раненый он, Гранишин, что тут непонятного? Раненых мы не добиваем, – медленно проговорил Андрей, внимательно всматриваясь в то место, где чернела воронка. Она была метрах в двадцати, а это уже на бросок гранаты. – Вот если бы раненый пытался стрелять.

– У нас тут что, ревизоры есть? Акт по каждому усопшему составлять будут?

– Ты же солдат, Гранишин. Солдат, а не убийца.

– Это мы до войны солдатами были. Война всех убийцами сделала.

– Чушь. Хотя лежит он близковато...

– Вдруг гранатами начнет... – поддержал его опасения Гранишин. – Может, его специально там...

– О чем ты? – устало оборвал лейтенант. – Если бы он мог бросать, уже давно забросал бы нас. Да только они там знают, что гранатами дот не возьмешь. Вчерашняя атака – это какой-то бред. Разве что хотели проверить, с чем мы здесь остались, на что рассчитываем. Но проверка обошлась им дороговато.

– Или просто с дури поперли. Шнапса нанюхались.

– С дури немцы не попрут. Не должны. Часть, по всему видно, кадровая. Офицеры опытные. Может быть, из тех, кто уже прошел и Францию, и Польшу. Да и вообще, на дурь противника рассчитывать не стоит.

Он замолчал, и почти сразу же из воронки начали долетать сначала стон, потом ругань и наконец слова мольбы.

– Пить просит, – перевел Громов. – Санитаров и пить.

– Ишь ты – санитаров и пить! Король! – оскалился Гранишин, осекшись на полуслове. – Хотя... оно и понятно. Отлежать ночь, истекая кровью, это, конечно, не в сладость. Ну так, может, к нему еще и медсестру прислать, чтобы приголубила?! Он ведь будет орать здесь сутки. Душу в лохмотья изорвет.

– Ведите себя, как солдат, а не как истеричка, – спокойно сказал Громов. Хотя он, конечно, понимал красноармейца: выслушивать все это, да еще от врага... когда сам с минуты на минуту ждешь, что осколок или пуля снайпера снимут тебя. Однако... Не добивать же его, в самом деле!

В бинокль он видел, как просыпался фашистский окоп. Видел офицера, рассматривающего дот. Слышат они там крики раненого или нет?

– Подползать к нему немцы не пробовали?

– Не замечено, – проворчал Гранишин, очевидно, обидевшись за «истеричку».

– Станьте к пулемету. Наблюдайте. Следите за окопом.

Громов отодвинул бронированную дверь и, пройдя по врытой галерее, остановился в конце хода сообщения.

– Не стрелять! – крикнул он в рупор по-немецки. – Говорит комендант дота! – В ближних окопах зашевелились. Черными пауками повыползали на бруствер каски. – У дота тяжело раненный немецкий солдат. Двое санитаров без оружия могут подойти и забрать его. Безопасность гарантирую. Слово офицера.

Шли минуты. Ответа не было. Из окопов тоже никто не поднимался.

Громов повторил сказанное и только тогда услышал:

– Рус большевик, сдавайся! Это есть твой последний день!

– Условия остаются прежними! – по-немецки ответил лейтенант, давая понять, что не изменил своего решения.

Возвращаться в дот не хотелось. Отсюда, прижимаясь к стенке галереи, он видел крутой скалистый изгиб речного каньона, вершину которого начало освещать призрачное утреннее солнце; видел уже освободившуюся от тумана часть берега, крыши хат у реки... Однако вокруг стояла все та же удивительная, слишком затянувшаяся, устрашающая тишина, безжалостно накалявшая нервы обреченных, но все еще обороняющихся в доте людей. Даже этой тишиной война постоянно напоминала о притаившейся опасности, пугая вечным безмолвием небытия.

От реки веяло прохладой, воздух был сыроват, и все же это была не та казематная сырость, которая пронизывала их в отсеках подземелья. Громову даже казалось, что он чувствует, как пропитанное каким-то ревматическим холодом тело его постепенно оттаивает и оживает. Оттаивает, оттаивает... вместе с душой. Единственное, чего он желал сейчас – это дожидаться здесь солнца. Однако понимал, что дожидаться его не удастся, через несколько минут противник обязательно откроет огонь.

Уже вернувшись в дот, лейтенант видел из амбразуры, как двое немецких солдат демонстративно бросили на землю автоматы и, воровато поглядывая на пулеметную точку, подошли к воронке.

– А ведь не верят, что не будем стрелять, – ухмыльнулся Гранишин, глядя, как немцы выносят на плащ-палатке раненого. – По себе судят, сволочи. Хотя, как по мне, командир... Благородство это наше ни к чему. Подлечат они этого, недобитого, и пойдет он снова в бой. А так одним было бы меньше.

– Ничего, урок стойкости мы им уже преподнесли. Уроки человечности тоже не помешают.

10

Роменюк умирал. Последние два дня он держался довольно мужественно, почти не стонал, а как только чувствовал себя немного лучше, все выпрашивал у Марии, сколько их осталось в доте, да умолял перенести поближе к выходу и обвязать гранатами. «Когда они ворвутся, – объяснял ей и лежащему рядом Симчуку, – устрою им прощальный салют. Это я еще могу им устроить».

– Отслужил я, товарищ лейтенант, – еле шептал он сейчас, пытаясь ослабевшей рукой сжать руку Громова. – Так ничем и не помог вам. Впустую, считай, отваялся...

– Ты это брось – впустую. Сражался не хуже других. Там, у орудия, жалеют, что нет тебя.

– Если бы к орудию... Но вы меня... К амбразуре... Поднесите... Хоть взглянуть бы... Небо... А то как в могиле. Страшно.

– Позови Абдулаева, – попросил лейтенант Марию.

– Не нужно, капитан. Он и так устал.

– Позови, позови. Абдулаев последний, кто остался из расчета Газаряна, в котором Роменюк был заряжающим.

Раненый действительно очень обрадовался появлению Абдулаева. Капитан дал им несколько минут для немногословного солдатского разговора и тогда предложил:

– Отнесем его к выходу. Откроем дверь. Пусть увидит солнце.

– Да нельзя его поднимать! – всполошилась Мария. – Неужели вы не понимаете?

– Можно, санинструктор, можно...

«Жаль, я почти ничего не знаю об этом человеке, – корил себя Громов, пока они шли к выходу. – О других хоть немного, хоть чуточку... Уже характеры угадываю, разузнал, откуда родом, чем занимались до войны... А ведь, умирая, именно меня позвал к себе, командира... как на исповедь».

Они открыли дверь и положили носилки так, чтобы Роменюк мог увидеть хотя бы кусочек неба. Ярко светило утреннее солнце. Вокруг опять стояла удивительная, непостижимая какая-то тишина, будто все живое, сама природа замерла, прощаясь с еще одним уходящим из жизни человеком.

– Атам дальше – река... – сказал Громов, но, взглянув на Роменюка, увидел, что глаза его закрыты. Две большие слезины застыли на посеревших щеках, как две капли расплавленного болью, но уже остывшего свинца.

– Река, – едва слышно прошептал раненый.

– Да, там река... – тоже закрыв глаза и уже в полубреду подтвердил Громов. – Ты видишь ее? Это же твой Днестр... Милый, как само детство...

– Лейтенант! Товарищ лейтенант, дот! Там кто-то есть. Он ожил!

– Какой дот? – словно во сне спросил лейтенант, с усилием открывая глаза. – Какой дот, Коренко?

– Там... Телефон... Я даже не знаю...

– Унесите Роменюка. Закройте дверь, – устало сказал Громов. – Следите за противником. Я сейчас.

И вдруг, словно вспомнив о какой-то своей оплошности, сорвался с места и побежал к командному пункту.

– Господин лейтенант? Не кладите трубку. Нам нужно поговорить.

– Это вы?! – А ведь он надеялся, что это отозвался Родован.

– Да, я – оберштурмфюрер Штубер. Звоню из соседнего дота. Линия здесь оказалась надежной, мои люди всего лишь сменили разбитый аппарат. Будем говорить на русском или перейдем на немецкий?

– На немецкий.

– Хотите получить небольшую языковую практику? Разумно. Если, конечно, позаботиться о том, чтобы она когда-нибудь пригодилась. – Громов промолчал и, немного поколебавшись, Штубер продолжал: – Все, что произошло с этой женщиной, конечно, гнусно. И, каюсь, я тоже имею к этому определенное отношение. Правда, унтер постарался, чтобы все выглядело значительно гнуснее, чем я предполагал.

– У нас мало времени, оберштурмфюрер. Оправдываться будете на суде. Кстати, какова судьба защитников этого дота?!

– Трагическая. Как и следовало ожидать. Послушайте меня, Громов, – так, кажется, ваша фамилия?!

– Это не имеет значения.

– Завтра ваш дот прекратит свое существование. Гарнизон погибнет. Появилась одна адская идея, которая ускорит падение вашей крепости, и смерть ваша будет страшной. Я говорю это не к тому, чтобы запугать...

– И на том спасибо.

– Мне не хочется, чтобы среди трупов оказался и ваш. Поэтому предлагаю: оставьте дот в три часа ночи. Просто выйдите из дота и поднимитесь на верхнюю террасу долины. Ни один выстрел в это время не прогремит. Вас будет ждать мой заместитель, фельдфебель, с моей машиной. В доте даже не поймут, куда вы делись. А командование Красной Армии будет считать, что погибли вместе со всеми.

– Интересно, зачем вам понадобилось спасти меня, оберштурмфюрер? Неужели считаете, что, сидя в этом доте, я могу обладать какими-то ценными сведениями? Все, что нужно знать о дотах, вы уже знаете, остальное...

– Вы правы: как язык вы не представляете собой никакой ценности. Наши войска вот-вот возьмут Киев и Ленинград. Ваше сопротивление – всего лишь эпизод. Но вы – храбрый человек. И мне жаль, что вы погибнете в этом подземелье вместе со всеми.

– Какова же судьба мне была бы уготована, – сделал Громов ударение на словах «была бы, – если бы я оказался в ваших руках? Шпион, которого вы забрасывали бы на территорию русских?

– Пока мы вас подготовим, никакой надобности в этом уже не будет, лейтенант. К тому времени Москва окажется в наших руках. А посылать разведчиков за Урал, чтобы разведать, что там делают бродящие по тайге отряды большевиков, – это нелепость. Я возглавляю спецотряд, который выполняет задание особой важности. Поэтому можете не сомневаться: у меня достаточно полномочий, чтобы определить вашу судьбу самым лучшим образом. В этом отряде уже есть немало опытных, отчаянных парней. Но мне не хватает нескольких личностей. Ярких личностей, с которыми можно было бы совершать «экскурсии» не только по Европе, но и, скажем, по Латинской Америке, США, Англии... Впрочем, все это уже подробности. О них позже. Слово офицера: дав согласие сотрудничать со мной (а я не вербую вас, идет обычный разговор), вы не пожалеете. Такие люди мне очень нужны. Тем более что вы хорошо владеете и русским, и немецким. Так что, лейтенант?.. – перешел Штубер на русский. – Вы поняли меня?

– Я достаточно хорошо владею немецким, чтобы понять все, что вы сказали, – тоже по-русски ответил Громов. – Но завтра я так же упорно буду сражаться против вас, как и сегодня. Вместе со своим гарнизоном.

– Остатками гарнизона, лейтенант, жалкими остатками.

– Это несущественно. Пока есть хотя бы два человека – есть и гарнизон.

– Вы заметили, что возле дота тихо?

– Да.

– Можете подышать воздухом, погреться на солнышке. Много времени подарить я вам не могу, но полчаса – ваши. Выйдите и убедитесь, что ни одного выстрела не прогремит. Хотя ответ вы уже, по существу, дали, я все же позволю вам еще разок, в половине третьего ночи. Поэтому не прощаюсь, лейтенант.

Положив трубку, Громов еще несколько минут молча смотрел на аппарат. Этот звонок показался ему звонком из какого-то другого мира, а разговор – продолжением кошмарного сна, смысл которого он уже не помнит.

– Кто это был, товарищ лейтенант? – напряженно смотрел на него Коренко, так и не ушедший из отсека и слышавший весь разговор.

– Да так, один давний знакомый. Решил развеять мою грусть.

– Неужели тот самый немец, который по-русски говорил? По радио.

– Тот. Связь, как видишь, работает исправно. Иди, открой дверь дота. Пусть подземелье немного прогреется. Скажи ребятам, что могут посидеть в окопе, подышать свежим воздухом. Стрелять по ним не будут. Но из окопа не выходить.

«Конечно, грешно пользоваться благодеянием врага. Но почему, однако, не полюбоваться солнцем? Тем более что враг вынужден давать нам эту поблажку».

– Эй, обер-лейтенант! – крикнул он в рупор. – Высылай санитаров и забирай раненых! В течение сорока минут огня открывать не будем! Есть договоренность с оберштурмфюрером Штубером! Ты слышишь меня?!

– Да, слышу! – донесся голос откуда-то из-за дота.

– Но условие: ваши санитары похоронят и наших убитых.

– Хорошо! – слышалось в ответ после почти минутного молчания.

– Кравчук, Петрунь и остальные, – приказал Громов, – выносите убитых. В плащ-палатках. За линию окопа. Быстро! Раненых тоже к выходу. Мария, иди, полюбуйся солнцем. – Он еле сдержался, чтобы не сказать: «Может быть, в последний раз».

– Крамарчук, – подозвал он сержанта. – Возьми бинокль, высматривай и засекай цели. Фашисты что-то замышляют. Сегодня и завтра днем нужно дать им настоящий бой. А ночью будем уходить. С ранеными. Попробуем прорваться в лес. Мы бы попытались сделать это сегодня ночью, но сегодня они будут начеку.

11

Утром Штубера вызвал к себе начальник Подольского отдела гестапо и задал единственный вопрос: до каких пор засевающие в доте большевистские фанатики будут расстреливать из орудий переправу через Днестр и подъезжающий к ней транспорт? Тон, в котором штурмбаннфюрер задал его, Штубер считал бы непозволительным, если бы не понимал, что сам майор СС отлично знает: Штубер не обычный оберштурмфюрер, и нельзя определять его положение в гестаповской иерархии только исходя из звания. А раз штурмбаннфюрер понимает это, значит, случилось нечто такое, что позволяет ему говорить именно в таком тоне. Но что? Угрожающий звонок из штаба группы армий «Юг»? Из Берлина (если, конечно, сообщение о днестровском доте каким-то образом все же попало в сводки, идущие в столицу рейха)?

– Следующей ночью дот замолчит, господин штурмбаннфюрер.

– Следующей?

– Да.

– Это вы так решили? – саркастически оскалился штурмбаннфюрер. – Если я не ошибаюсь, он сражается в полном окружении уже восемь суток. Что вам мешало заставить его замолчать еще пятеро суток назад?

– Пятеро суток назад я не командовал штурмом дота. И кроме того, замечу: дот очень мощный. Хорошо укреплен.

– Мне это известно.

– И все же дот «Беркут» – это действительно особый случай в военной практике. Он сражается так же упорно, как гарнизон Брестской крепости, о которой вы, несомненно, слышали, господин штурмбаннфюрер.

По тому, как начальник отдела гестапо пробормотал что-то нечленораздельное, Штубер, однако, понял, что никакой информации об обороне этой крепости у него нет. Но все же сравнение возымело кое-какое действие. Во всяком случае, тон беседы штурмбаннфюрер несколько поумерил.

– Что вы собираетесь предпринять? – только теперь начальник отдела гестапо сел сам и предложил сделать то же самое Штуберу.

– Я внимательно осмотрел дот. Русских можно наказать самым жесточайшим образом. Например, забросать вход и амбразуры камнями и залить их раствором. То есть заживо похоронить. Как в склепе. Если уж кому-то вздумалось писать листовки, прославляя подвиг гарнизона, то пусть все, кто успел узнать о доте, узнают и о том, чем закончилось это бессмысленное сопротивление. В конце концов, мы тоже умеем писать листовки.

– А что, это идея, – поиграл желваками штурмбаннфюрер. – Очень жаль, что эта гениальная мысль пришла вам в голову слишком поздно. Практически она, надеюсь, осуществима?

– Вполне. Правда, понадобится еще пара пулеметов, чтобы держать под огнем...

– Вы получите четыре пулемета, – перебил его штурмбаннфюрер. – Нет, пять.

– И еще – три грузовика. И на каждую машину по десять грузчиков, которые бы собирали камни и свозили их к доте. С тыльной стороны, конечно. Кроме того, понадобится несколько строителей, способных приготовить к вечеру три центнера хорошего цементного раствора.

Штурмбаннфюрер посмотрел на часы: половина десятого.

– Через два часа у вас будут пулеметы, грузчики и грузовики. К шестнадцати ноль-ноль в ваше распоряжение поступит бригада строителей с необходимым материалом и инструментами. У вас все, оберштурмфюрер?

«Вот что значит истинно немецкая пунктуальность!» – почти с восхищением подумал Штубер, несколько не сомневаясь в том, что в назначенное время все это действительно поступит в его распоряжение.

12

Ночью Громова разбудил Абдулаев.

– Они подползают, командир, – почти прошептал он, словно те, о ком шла речь, могли услышать его голос. – Там, – показывал на амбразуру, – к артиллерийской... Их много. Ползут тихо. Медленно.

– Ясно. Поднимай людей. Только без шума. Света не зажигать.

Лейтенант повесил через плечо автомат и схватил огнемет, который вечером занес к себе. Вчера он уже испытал его в дальнем конце дота, у колодца. Получилось эффектно и жутковато.

Подойдя к амбразуре, он начал вглядываться, пытаясь различить в темноте ночи то, что сумел увидеть Абдулаев. Но лишь через несколько минут, немного привыкнув к темноте, заметил движение, а потом услышал едва уловимое шуршание ползущего тела. Они уже слишком близко. Хотят оседлать амбразуры? Очевидно – да. И выбивать их, ползущих в темноте между воронками, будет непросто.

Первая же струя огнемета осветила трех ползущих друг за другом вермахтовцев и сразу же упала на них огненными гроздьями. В ответ полетела граната, но разорвалась она чуть-чуть в стороне, а взрыв ее слился с криками и стонами охваченных пламенем людей. Андрей видел, как они металась в ночи, вскакивали, снова падали и катались по земле, пытаясь сбить пламя. Еще через минуту он бросился к другой амбразуре... И снова склон озарила огненная радуга. Снова охваченные пламенем враги. В это же время заработали все три пулемета, и кто-то из бойцов-автоматчиков успел занять место у амбразуры, которую только что оставил Громов.

Предоставив защиту своей точки артиллеристам, лейтенант подхватил огнемет и побежал к пулеметчикам. Те тоже сумели прижать противника к земле. Но фашистов залегло человек двадцать. И у дота уже взорвались пять или шесть гранат. Опять их выручил огнемет. Его струи снова и снова заставляли фашистов подниматься (при этом они сразу же попадали под пулеметные очереди), пятиться, вспыхивая живыми факелами...

«Странно, что никому не пришло в голову вооружить гарнизоны дотов огнеметами... – подумал Громов, когда эта атака наконец-то была отбита. – Ведь можно было предусмотреть для них миниатюрные амбразуры, стоя у которых, бойцы выжигали бы врага этим кощевским огнем, не подпуская к пулеметным и артиллерийским точкам. Ну и, конечно, баки в доте могли бы быть намного вместительнее».

– Что тут у вас? Потери? – спросил он у появившегося в отсеке Гранишина.

– Напоролись, товарищ лейтенант. Коренко опять ранен.

– Коренко? Как это могло произойти? Ведь и боя-то...

– Да умудрились. Бросились к амбразурам, не поняли сразу... Думали, что фашисты пойдут в атаку, а они, оказывается, уже у дота... Вот и... Легко, правда, – в руку. Не везет ему. Только-только подлечился.

– Везет – не везет! Нужно учиться воевать! Воевать нужно учиться – вот что!

– Учимся, – мрачно ответил Гранишин. – Отучились уже. Дот совсем опустел.

– Спасибо за информацию.

– Это правда, что завтра ночью пойдем на прорыв?

– Правда, правда... Мы свое сделали. Последний бой. Почему спросил? Не верится?

– Честно говоря, нет. Думал, вы это так, для поднятия духа.

– И для поднятия – тоже. Что, очень хочется вырваться отсюда?

– Кому ж не хочется? – тяжело вздохнул Гранишин. – Помирать – радости мало. А чую, что уже и моя очередь подходит. Не все же кому-то другому гибнуть да от ран стонать...

– Ладно, не думай об этом. Не нужно думать. Однако ночь, судя по всему, будет трудной, – добавил Громов, прислушиваясь к разрывам снарядов, лежащих чуть выше дота.

Андрей понимал, что, решив, во что бы то ни стало морально сломить их, гитлеровцы, очевидно, предпримут этой ночью что-то гнусное. Однако что именно? Газы? Затопление? Более плотную блокаду? Но у гарнизона есть снаряды, есть вода и пища. Асам дот непробиваемый. Странно только: почему другие доты не сумели продержаться столь же долго? Ведь какую массу войск мы сдерживали бы на этом рубеже! Сколько уничтожили бы фашистов уже здесь, в тылу! И все же... Что они задумали?

– Командир, разреши уйти из дота. Заляжем в пещерах, наверху, а утром дадим бой.

Громов внимательно осмотрел Коренко. Вся левая рука его в бинтах. Они окровавлены. Мария только что перевязала его, но остановить кровь не сумела.

– Может, попытаетесь прорваться?

– Не получается у нас, командир. И вас по рукам свяжем. Лучше дадим бой в пещерах.

– И кто это «мы»?

– Я и Симчук. Прихватим трофейный пулемет, гранаты...

– Но ведь вы даже не сможете пройти туда.

– Почему? Ползком. Симчук на спине. Он уже пробовал.

– Да ранены вы, ранены! – взорвался было Громов, однако сразу же осекся. А что он мог предложить им, раненым, особенно Симчуку, вместо этой вылазки? Прорываться вместе со всеми? Ждать смерти здесь, в доте?

– Ну что ж... Если вы твердо решили... Можете прикрывать дот в мертвой зоне. Крамарчук, Петрунь и вы, Гранишин... Помогите им собраться и доставить туда пулемет. На плато фашистов пока нет. А вот дальше... Дальше не пройти. Мы, все остальные, прикроем вас. Да, не забудьте фляги с водой. И консервы.

Громов понимал, что эти двое идут на смерть. Но разве они, остающиеся в доте, не так же обречены? Поэтому он не стал устраивать сцены прощания. Все должно было выглядеть так, будто они переходят из одного отсека в другой, меняют позицию – вот и все.

На удивление, операция эта прошла довольно спокойно. Похоже, что после неудавшейся атаки фашисты убралась в окопы и отошли на верхнюю террасу. Оставлять пост на крыше они просто-напросто не решились. Или не сочли нужным.

Громов посмотрел на часы. Половина третьего. «Послать этого Штубера, что ли? И без него тошно».

Возможно, он и утвердился бы в решении не поднимать трубку, но именно в эту минуту давно и, казалось, навсегда умолкнувший аппарат вдруг ожил. Услышав его трель, Громов не задумываясь шагнул в мрачную пещеру отсека.

– Ну, что скажете, господин лейтенант? – послышался в трубке наигранно бодрый голос оберштурмфюрера. Неужели действительно это тот самый старший лейтенант СС,

которого он скрутил у моста и который потом, по иронии судьбы, именно здесь, напротив дота, сумел уйти на правый берег? Вчера Громов не спросил его об этом. Просто забыл. Слишком уж неожиданным был звонок Штубера и весь этот разговор.

– Все, что я мог сказать, я уже сказал, отбивая атаку ваших войск.

– Ну, сидя в подземной цитадели и при таком вооружении, можно отбивать атаки посложнее. Стоит ли говорить сейчас об этом? Вы подумали над моим предложением?

«Да пошел бы ты!..» – мысленно вскипел Громов, но вместо этого ответил довольно спокойно:

– Подумал. Гарнизон будет сражаться до последнего бойца.

– Ну что ж, это ответ солдата, – сразу же отреагировал Штубер, очевидно, будучи готовым к такому варианту беседы. – Только знайте, – вдруг перешел он на немецкий, – я дарил вам последнюю возможность спасти свою душу.

– Это была возможность продать ее, оберштурмфюрер. Продать, а не спасти. Это далеко не одно и то же. Кстати, я хотел бы задать вопрос и вам. Уж не тот ли вы офицер, которого я... пленил там, у моста, дней двенадцать назад?

– Я мог бы вас разочаровать, сказав, что понятия не имею, о ком идет речь. Однако не стану портить вам настроение, лейтенант. Хотя вы мне его испортили. Да, тот самый. Судьбе, как видите, было угодно, чтобы со временем мы поменялись ролями. И теперь уже вы стали моим пленником.

– Это еще не факт. Пленниками мы себя пока не считаем.

– Напрасно. Для вас это единственный выход. Иначе гибель.

– Ничего, бой рассудит.

– Не бой, лейтенант, а война, история.

– Они уже рассудили.

И, не ощущая никакого прилива ни злости, ни обычного раздражения, Громов с силой ударил трубкой о цементный пол. А потом еще с величайшим удовольствием потоптался по ее железкам и осколкам, будто этим «ритуальным» топтанием, словно печатью, скреплял свое окончательное решение: души своей на жизнь предателя не разменивать.

13

На рассвете Громов снова попробовал подремать, но его тотчас же разбудил Петрунь.

– Я пойду к ним, товарищ лейтенант, – проговорил он тоном обреченного. – Выйду из дота и...

– К ним? К кому это – к ним? – не понял Громов. – Нельзя ли чуть яснее?

– Ну, к ним, туда, навверх. Трудно им там будет одним, раненым. Атак... Все равно это наш последний день.

– Кто это тебе сказал, что последний? – только сейчас Андрей поднялся с лежака и внимательно посмотрел на Петруню. Лампочка едва освещала отсек, и лицо бойца казалось ему безликой серой маской. – Почему ты так решил? – спросил он еще жестче.

– Да все так думают. Словом, пойду. Трудно им там... Попытаемся продержаться хотя бы до обеда.

– Ну хорошо, – согласился лейтенант после минутной паузы... – Если ты так решил... Только обязательно продержитесь. До вечера. Мы вас будем поддерживать гранатами. Вечером попытаемся прорваться.

– Не сможем мы уже никуда прорваться, комендант. Вы же понимаете, что не сможем.

– Только не надо хоронить себя живьем. Что за дурацкая привычка? Ты же знаешь, что я этого не терплю.

– Теперь знаю. Вы единственный человек, который в эту ночь спокойно, как ни в чем не бывало, уснул. Каравайный пришел и говорит: «Браточки, а лейтенант наш спит себе, как у тещи под яблоней!» Мы не поверили – пошли, посмотрели: точно, спокойным детским сном.

– Лучше бы тоже выпались перед боем, провидцы! – проворчал лейтенант, смущаясь от того, что стал предметом внимания всего гарнизона. Вот уж не думал он, что сон перед решающим боем способен удивить кого-либо из этих людей.

– Можно, я позвоню им?

Петрунь покрутил ручку телефона и, немножко подождав, тихо спросил:

– Как вы там?

Наклонившись к трубке, Громов услышал голос Симчука:

– Пока ничего, терпимо.

– Товарищ лейтенант посылает меня к вам, на помощь. Втроем будет веселее.

– Посылает? – не поверил Симчук. – И ты согласился?

– Уже иду.

– Патронов захвати.

– Что там слышно, Симчук? – сразу же взял трубку лейтенант.

– Появились какие-то машины. Наверное, привезли подкрепление.

– Вполне возможно. Лишний раз не высовываться. Сейчас попробуем переправить к вам Петруня.

– Пусть прихватит карабин и побольше патронов.

– Об этом позаботимся.

Петруня фашисты не заметили. Он сумел проползти к пещерам, не вызвав ни единого выстрела. При этом протащил за собой конец веревки, благодаря которой они перетащили потом карабин, а также сумки с гранатами, патронами и консервами.

Как только эта операция закончилась, Крамарчук доложил, что на шоссе появилась колонна машин.

– Огонь по шоссе и переправе! – немедленно скомандовал Громов. – Представляю себе удивление фашистов, которые здесь, в глубоком тылу, через несколько дней после отхода наших вдруг окажутся под артиллерийским обстрелом! – добавил он, засекая в бинокль разрывы снарядов на серпантине дороги.

Петрунь говорил, что все бойцы решили: этот день – последний в судьбе гарнизона. Ну что ж, последний так последний. Громов и сам понимал, что развязка этого фронтового эпизода приближается, и будет она трагической. Тем не менее старался вести себя совершенно буднично. Обычный день, обычная солдатская работа. Он объявил гарнизону, что их последняя боевая задача – продержаться до ночи. Ночью – прорыв. А потом марш к своим. Верят бойцы в такую возможность? Громову очень хотелось, чтобы верили. Нельзя сражаться, зная, что ты обречен. В счастливый исход нужно верить даже в самом безнадежном бою.

– Товарищ лейтенант, – обрадовался Петрунь, услышав в трубке голос командира. – Появились машины, и солдат что-то многовато. Слева, у завода, вижу три орудия.

– Ясно. Спасибо. Что еще замечено?

– Справа тоже два ствола. Вон солдаты спускаются окопами вниз. Наверно, будут сжимать кольцо.

– Слушай, Петрунь, еще не поздно, еще можно вернуться в дот. Спроси ребят.

– Мы говорили. Поздно. Остаемся. – Громова поразило, что он сказал это сразу, не засомневавшись в правильности своего решения. И как-то удивительно спокойно.

– Ну что ж... Смотри по обстоятельствам. Не выдавайте себя. Провод пролегает по ложбинке. Его не сразу заметят. Сколько можно, не выдавайте себя. Нужно продержаться до ночи. Ночью прорвемся.

Что он мог еще сказать этим трем обреченным бойцам? Чем обнадежить? А ведь они наверняка тоже на что-то надеются, наверняка еще верят, что командир сумеет предпринять что-то такое, что бы спасло их. Но, может, тогда и не стоит вселять в них эту надежду? Они солдаты – и этим все сказано.

Еще минут десять гайдуки Крамарчука «инспектировали» дорогу и переправу, а Громов и Степанюк точно так же «инспектировали» своими пулеметами фашистские окопы возле дота. Но потом на «Беркут» обрушился смерч огня. Пять или шесть орудий били прямой наводкой с того берега, несколько орудий расстреливали его со стороны завода и поселка. Одновременно по амбразурам прицельно ударили сотни карабинов и автоматов.

Дот трещал, стонал и судорожно содрогался от взрывов. Иногда Громову казалось, что они находятся в наглухо закупоренной бочке, по стенам которой изо всей силы бьют сотнями молотков. В то же время амбразур почти постоянно были завешены шлейфом из глины, каменного крошева и осколков, сквозь который уже ничего нельзя было различить.

Прикрыв свою бойницу искореженной заслонкой, Громов приказал Каравайному подносить патроны, а сам пошел в отсек Степанюка. Сержант лежал на полу с раскрытым черепом. Даже не оттащив его от пулемета, Гранишин продолжал непрерывно поливать свинцом пространство перед дотом.

– Прекратить огонь! – крикнул лейтенант. – Я сказал: прекратить огонь! – опустил он на колени рядом с Гранишиным, но тот отчужденно уставился на планку прицела и совершенно не реагировал на приказ командира.

Тогда, ухватив Гранишина за шею, Громов буквально рванул его на себя. И надо же было случиться так, что именно в это время снаряд угодил в угол амбразур.

– Спасибо, командир. Еще пару часов ты мне подарил, – тихо сказал Гранишин, поднимаясь с земли и отряхивая лицо от пыли. – Да только хватит нас сегодня ненадолго.

– У тебя кровоточит рука, – прокричал в ответ Громов, переждав очередной взрыв снаряда. Похоже, что фашисты отлично пристрелялись по этой амбразуре. – Сбегай к Марии, пусть перевяжет. И захвати носилки.

– Почему молчит наше орудие, лейтенант?

– Да? – удивился Громов. – А что, действительно молчит?

– По-моему, молчит.

Громов осторожно выглянул в амбразуру. Прямо на дот, стреляя на ходу, ползли два танка. Он понимал, что крутизна склона не позволит им подойти слишком близко, но все же теперь они смогут расстреливать их подземную крепость в упор. Неужели, говоря о том, что сегодняшней день решающий, Штубер имел в виду именно танки? Но ведь они могли бы двинуть их на дот и раньше. Если речь шла о танках, тогда это еще полбеды.

– Гранишин, отставить санчасть. Вон за танками поплелась пехота. Отсекай ее от машин. И бей по щелям танка. Я – в артиллерийскую.

Артиллеристов он увидел возле входа в точку. Там же была Мария.

– Что случилось?! – еще издали крикнул он. – Крамарчук, к орудию!

– Отстрелялись мы, командир, – на удивление спокойно, почти беззаботно ответил Крамарчук, помогая Марии перевязывать раненого. – Угробили фрицы нашу 76-миллиметровку.

– Да ты что?! О, Господи! Именно сейчас, когда она так нужна! Проклятый день! Этот проклятый день... Кто ранен?

– Газарян.

Он был ранен в плечо и в скулу. Раны оказались тяжелыми. Газарян был без сознания, а теперь еще и терял кровь. Терял слишком щедро, чтобы у Марии оставалась надежда вернуть его к жизни. И все же она пыталась сделать это.

Громов метнулся в артиллерийскую точку. Она содрогалась от взрывов. Отсек, где находилось орудие Газаряна, был буквально забит пылью. Когда он, почти на ощупь, добрался до амбразуры, один из танков подполз уже совсем близко. Его бы сейчас... Но ствол у орудия действительно был покорежен, и они оказались беззащитными перед этой стальной громадиной. Через несколько минут фашисты поймут это и окончательно оседлают все амбразуры.

В промежутках между взрывами Громов слышал, как коротко и зло огрызался пулемет Гранишина. Там, наверху, тоже шел бой. Значит, Петруня, Коренко и Симчука уже обнаружили. Да, похоже, что в краткой истории их подземной крепости этот день и в самом деле может оказаться последним.

– Каравайный, огнемет сюда! – выглянул он из отсека. – Крамарчук, Лободинский – с гранатами на выход! Отогнать танки! Кравчук – с автоматом к амбразуре. Не подпускайте пехоту.

Все, что происходило в доте, кажется, совершенно не касалось Абдулаева. Притаившись у амбразуры, он делал свое солдатское дело спокойно, с той долей хладнокровия и степенности, которые заставляют стоящего рядом побороть страх, забыть о смерти, вспомнить, что он тоже солдат.

– Видишь, командир: танк стоит? – Громов не заметил, чтобы Абдулаев оглядывался, но каким-то образом сразу определил, кто именно появился рядом с ним. – Моя думай: «Танкиста убить». Вон окошко в танке. Абдулаев туда стрелял.

– И снаряды у них, очевидно, кончились, – добавил Громов, наблюдая, как залегшие за танком солдаты стали осторожно отползать в стороны, чтобы не оказаться под его гусеницами. – Иначе плевались бы из своей пушчонки. Водитель для этого не нужен. Не дать бы им опомниться.

14

Каравайный успел вовремя. Именно тогда, когда кто-то из танкистов сел на место водителя и попытался увести танк от дота, Громов сумел ударить по нему огненной струей. Следующая струя дотянулась до пехотинцев. Танк задымил и, словно раненый зверь, попятился вниз по склону. Рядом с ним факелом вспыхнул один из солдат. Другого немца, пытавшегося отбежать от живого факела, сразил Абдулаев.

Горящий танк медленно уползал к окопам, и Громов очень жалел, что поразить его уже нечем. Вслед за ним, отстреливаясь из орудия и пулемета, уползал второй танк. Громов видел, как на броне его разорвалась противопехотная граната, и попытался ударить еще одной струей по пехоте, но огнемет выпустил всего лишь маленькую струйку и зашипел.

Все, теперь они остались и без этого последнего грозного оружия.

– Что у тебя, Петрунь?

– Отбили. Ребята помогли. Гранатами.

– Ты остался один?

– Симчука убило. Коренко снова ранило. Без сознания.

– Ясно. Они что, пытались пройти к доту, к амбразурам по крыше?

– Да. Только нас не заметили. Ну, а мы их тут...

То, что связь с Петруней все еще действовала, показалось Громову чудом. Он только потому и не клал трубку, что понимал: этот тоненький проводок – единственная ниточка, связывающая Петруню с гарнизоном, с армией, с надеждой...

– Слушай меня, Петрунь, – почти с нежностью проговорил он, – попытайся все же вернуться в дот.

– Не смогу, – еле слышно ответил боец, немного помолчав. – Подстрелят. Здесь я тоже, как в доте. Только пусть ребята еще раз поддержат меня гранатами. Когда германец попрет, пусть поддержат. Почему орудие молчало? Танки ведь...

– Нет у нас больше орудия, Петрунь.

– И второго нет? Господи, что ж теперь?! Значит, все...

– Ну, это мы еще...

– Немцы, командир, немцы!..

Петрунь положил трубку рядом с аппаратом. Может, в спешке, а может, не желая обрывать эту последнюю связь, чтобы лейтенант тоже мог слышать, как он ведет бой. И Громов действительно слышал, как начал нервно исповедоваться его пулемет.

– Ну что ж, еще один бой мы выиграли, – сказал Громов минуту спустя и только тогда положил трубку на полевой аппарат. – Теперь фашисты на час-другой успокоятся. А там будет видно.

В коридоре он чуть было не столкнулся с Крамарчуком, который вместе с Каравайным нес кого-то на носилках.

– Кто? – нагнулся над носилками. – Ах, да...

Это был Лободинский. Громову показалось, что он мертв.

– А где Кравчук?

– Тоже ранен. Тяжело. В санчасти. Мария перевязывает.

– Проклятье!

Громов посмотрел на часы. Они показывали половину двенадцатого. До вечера оставалась тьма времени, но лейтенант понимал, что каждый час будет казаться теперь годом. Если так пойдет и дальше, ночью в доте уже будут немцы. В это время раздался сильный взрыв у входа.

– Кажется, они пытаются подорвать дверь! – крикнул Крамарчук, выскочив из санчасти. – Сейчас проверю.

Громов бросился в пулеметную точку. Если вермахтовцы действительно принялись за входную дверь, нужно было срочно перенести один пулемет в ход сообщения и соорудить в конце коридора баррикаду, иначе они сразу ворвутся. А сдерживать их уже не будет никакой возможности.

Он вошел в отсек, где стоял трофейный пулемет, взял его и, проходя мимо соседнего отсека, позвал Гранишина. Тот молчал.

Лейтенант заглянул внутрь. Голова Гранишина покоилась на кожухе максима, и казалось, что кровь источает сам пулемет. «Это и есть война... Крестом не осененная», – мелькнула в сознании Громова какая-то странная мысль.

– Дверь заклинило! – появился в отсеке Крамарчук. – Так что войти они не смогут. Разве что рванут еще раз. Но их там сейчас Абдулаев распугал. Выйти, правда, мы тоже не сумеем.

Говоря эти слова, сержант приподнял голову Гранишина, убедился, что тот мертв, и оттащил тело от пулемета. Делал он все это с убийственной будничностью, которая просто поразила Громова, хотя ему казалось, что уже давно разучился поражаться чему-либо, что происходит в этом доте и вокруг него.

– Нужно еще «помочь» им из пулемета. Прижми немцев на этом участке, загони поглубже в окопы, а я прощупаю их у входа.

Громов дал несколько очередей по всей линии окопов, которые открывались ему в этом секторе, но фашисты и так не очень-то высывались – очевидно, теперь они больше уповали на артиллерию. Однако там, наверху, пулемет Петруня все еще молчал.

Андрей пошел на командный пункт и попробовал связаться с ним. Связи не было. Еще несколько минут он прислушивался к тому, что делается наверху, однако ничего такого, что свидетельствовало бы о существовании там своего бойца, расслышать не смог. Тем временем осаждавшие снова ударили по амбразурам из всех видов оружия. Они поняли, что дот на грани гибели и, стараясь ускорить развязку, наседали, как изголодавшаяся стая волков.

«Ну что ж, прощай, Петрунь. Мужественный ты был парень. Сколько храбрых ребят полегло здесь, на этих склонах, сколько их полегло! Остается только пожелать себе умереть так же мужественно, как все они...»

В пулеметную точку он звонил с затаенным страхом, что и там поднять трубку уже будет некому. Может быть, поэтому вздрогнул, услышав:

– Алло! Сочи на проводе! Курортников просим собраться у второго причала!

– Ты жив, Крамарчук?! Ты, чертяка, жив?! Что там у тебя?!

– Фашисты из окопа убрались. Правда, не все, несколько человек осталось в нем навечно. Но с пушкой оно как-то посolidнее было, комендант.

– Теперь о пушке даже мечтать не вмоготу. Так что... А Петрунь молчит. Нет с ним связи.

– Может, еще отзовется?

– Да уже, наверное, нет. Не верится.

– Подождем, комендант, подождем. Это же Петрунь, наш хлопец. Вдруг провод перебило, да мало ли что...

– А как хочется, чтобы там, наверху, оставалась еще хотя бы одна родная душа!

– Скоро и наши души будут там, «наверху».

– Отставить, сержант.

Впрочем, Крамарчук оказался почти пророком. Телефон действительно ожил.

«Немцы...», – решил Громов, услышав этот долгожданный зуммер.

– Петрунь? О, Господи, мы уже подумали... Что? Что-что?!

– Симчук... Сим...

– Кто?! Симчук? Это ты, Симчук?!

– Ятова... лей... Убит... Петрунь. А я... вот... – в трубке послышалось нечто похожее то ли на сдавленный стон, то ли на всхлипывание.

– Понял, Симчук, понял! Где фашисты?

– Отбил их Петрунь. Сейчас... Камни... Много...

– Что?!

– Камни...

– Не понял, Симчук! Какие камни?! Что камни, что?!

– С горы... Камни... Прощай... Немцы...

Громов отчетливо слышал в трубке немецкую речь. Слышал, как Симчук еще силился что-то сказать, но только хрипел в трубку, которая в конце концов захлебнулась взрывом гранаты. Андрей вздрогнул всем телом, словно осколки достигли его по проводам. Но быстро овладел собой и, все еще не выпуская трубку, вопросительно посмотрел на Крамарчука.

– Эти хриstopродавцы подвозят камни. Будут скатывать их с горы, – меланхолично как-то объяснил сержант.

– Камни? Зачем? – скорее по инерции, чем по необходимости выяснить замысел гитлеровцев, спросил Андрей. – Зачем им это понадобилось?

Крамарчук отрешенно взглянул на коменданта и молча отвел взгляд.

15

– Как обстоят дела, мой фельдфебель? – Штубер появился только к двум часам дня, когда у дота уже вовсю кипела работа: подъезжали машины, одна группа солдат скатывала камни с верхнего яруса на нижний, а другая забрасывала ими дверь и амбразуры, тотчас же заливая свежий слой раствором.

– Дверь уже замурована, господин оберштурмфюрер. Пулеметная точка – тоже. Трудимся над артиллерийской.

– Вы перестараетесь, Зебольд. У меня и в мыслях не было соорудить для гарнизона «Беркута» пирамиду.

– Но замуровать-то их все равно необходимо.

– И что же предпринимают русские?

– Стреляли до последней возможности. Даже когда стрелять им уже было не по кому. Я приказал всем убраться из секторов обстрела.

– Были заявления о сдаче в плен?

– Не было, господин оберштурмфюрер. Мы ничего такого не слышали, – добавил он, уловив настороженный взгляд Штубера. – Если бы они просили об этом, мы бы, конечно, приостановили работу, подождали вас.

Он знал о страстном желании Штубера пленить коменданта дота и догадывался, что оберштурмфюреру не по себе от мысли, что так и не смог сломить советского фанатика.

– А вообще-то я ему не завидую, этому лейтенанту. Когда он почувствует, что задыхается, сразу же захочет выкарабкаться на свежий воздух.

– Ваши чувства по этому поводу меня совершенно не интересуют, мой фельдфебель. Лучше скажите, что бы предприняли на его месте лично вы? Они могут попытаться взорвать ваши баррикады?

– У них есть один разумный выход – сдаться в плен. Но, судя по всему, эти красные предпочитают смерть.

Выслушав фельдфебеля, Штубер приказал ему приостановить замуровывание и подойти с рупором к артиллерийской амбразуре.

– Через пять минут мы завалим вас камнями! – кричал Зебольд, коверкая слова. – А еще через полчаса вы в своем бункере задохнетесь! Однако немецкое командование гуманное! Оно предлагает вам сдаться в плен! Предлагает последний раз.

Повторив это дважды, Зебольд решил подождать ответа русских, но вместо него в оставшуюся щель осажденные каким-то образом сумели протолкнуть лимонку, и стоящий на крыше дота фельдфебель лишь на какую-то секунду успел броситься на землю раньше, чем прогремел взрыв. Одним осколком ему пробило свалившуюся пилотку, другим разорвало голенище сапога.

– Не огорчайтесь, мой фельдфебель, – невозмутимо прокомментировал это происшествие Штубер, когда через несколько минут после взрыва Зебольд примчался к нему в окоп. – Русские вас просто-напросто не поняли. О чем они будут горько сожалеть. Обер-лейтенант, – обратился он к Вильке, – замуровать последнюю амбразуру.

– Не хотите поговорить с русскими по телефону? Мои связисты могут подсоединиться к кабелю, что вел к пещерам, которые защищали солдаты взвода прикрытия.

– Я с покойниками не общаюсь, обер-лейтенант, – презрительно процедил Штубер.

16

Камень, снова камень... Всплески раствора... Все меньше света в отсеке, все гуще и чаднее становится воздух...

Громов поднял автомат и в отчаянии расстрелял по камням весь магазин. Пули рикошетили, с воем уносились куда-то вверх или врезались в стенки амбразуры, не причиняя при этом каменному завалу никакого вреда. Это были выстрелы бессилия. У него еще осталось трое боеспособных солдат (в последнем бою Абдулаев был ранен в плечо и сейчас лежал в санчасти), масса снарядов и патронов, есть даже гранаты... Они находятся в мощном доте. Разве не обидно, что, обладая всем этим, они в концов оказались бессильными и обреченными? И самое страшное – что умереть придется не в бою, а вот так, задыхаясь или кончая жизнь самоубийством.

– Даже пострелять не дадут напоследок, – остановился за его спиной Крамарчук. – Измором возьмут, христопродавцы. Удушат в подземелье – и отпевать некому будет.

– Зато склеп идеальный. Лучшего и желать не приходится, – мрачно отреагировал Громов.

– Может, все-таки сдадимся, а? В самом деле, какого черта умирать, да еще вот так, мученически? Только бы нас выпустили отсюда, а там мы еще по дороге в лагерь сбежим.

– Брось, сержант. «Сбежим! По дороге в лагерь!..» Ты же знаешь, что обороны этого дота они нам не простят. И хорошо представляешь себе, что нас ждет. Не говоря уже о бесчестии самого плена.

– Но ведь жалко же подыхать вот так, по-крысьему! Ведь повоевали бы еще! И скольких бы уложили!

– Мы храбро сражались, сержант. Теперь наша задача: так же храбро и мужественно умереть. Ну а то, что они замуровали гарнизон... Именно как зверство этот случай и войдет в историю войны.

– Да что мне до истории, лейтенант?! – почти простонал Крамарчук. – Мне дышать нечем – вот какая история! Понимаешь ли ты это или нет? Сколько мы еще протянем здесь, когда они... ну, полностью?

– Не более часа.

– И все?

– И все.

– Будь она проклята, эта бетонная могила!

– Послушай, Крамарчук, иди к раненым. Там Мария... Когда увидишь, что... Не доводи ее до мучений. Словом, ты понимаешь, что я имею в виду...

– Ну что ж... Теперь – конечно. Теперь только бы не сойти с ума и вовремя пустить себе пулю в лоб.

– Где Каравайный?

– В энергоотсеке. Все еще пытается запустить свой дизель и дать нам свет. Не знаешь, зачем он нужен мертвецам?

– Тогда он святой человек. Однако запускать этот дизель сейчас нельзя. Сожрет весь воздух.

– А что, если натаскать сюда снарядов? И рвануть? Проломить стенку.

– Уже думал об этом. Можно и рвануть. Но это не спасение, а смерть. Погибнуть, конечно, можно и таким образом.

– Что же будем делать?

Громов молча смотрел на амбразуру. Теперь сквозь нее пробивался лишь тоненький лучик света. Последний лучик жизни. Достаточно было одного-двух камней, чтобы раз и навсегда оборвать его. Одно-двух камней...

– Эй, красные! Можете считать свой дот неприступным! – кричал тот же немец, который совсем недавно предлагал им сдаться. – Мы укрепляем его по всем законам фортификации!

– Крамарчук, – вдруг схватил Громов сержанта за рукав. – Быстро в энергоотсек. Принеси лом. Или что-нибудь в этом роде.

– И что? Что тогда?

Громов не стал объяснять ему, сам бросился в коридор и побежал к энергоотсеку. В проходе все еще коптели две керосинки, и лейтенант подумал, что надо бы погасить их – зря съедают кислород. Но тратить на это время не стал. Он забежал на командный пункт, взял со стола трофейный фонарик и через минуту уже был в энергоотсеке.

– Что? – встревоженно спросил его Каравайный, копавшийся при свете керосинки в моторе. – Немцы? Я сейчас. Уже вот-вот...

– Лом нужен, Каравайный, только лом.

Он был голым по пояс. В отсеке, всегда таком влажном и прохладном, теперь становилось душно.

– Что делать, товарищ лейтенант? – спросил он, подавая Громову довольно увесистый лом. – Что им делать?

– Продолжайте ремонтировать. Доту нужен свет, – бросил Андрей уже на ходу.

– Я бы... Но очень трудно дышать...

«Там, в стенке колодца, – щель. Если ее расширить... – пульсировала одна и та же мысль. – Там струя воздуха. Я помню. И если щель расширить, – думал он уже стоя по пояс в холодной, почти ледяной воде и загоняя острый конец лома в трещину, – если ее расширить, то мы сможем продержаться еще несколько суток...»

Громов долбил и долбил, однако никакой струйки воздуха почему-то не ощущал. А ведь тогда он явственно почувствовал ее. Она была. Почему же сейчас?.. Неужели после очередного обстрела щель сузилась настолько, что?..

Но все же в колодце дышать стало несколько легче. Возможно, здесь существовал еще какой-то свой автономный запас кислорода. Должен был существовать.

– Командир? Ты здесь? – послышалось сверху. И в колодец свесилась голова Крамарчука. – Что там?..

– Щель. Была щель. Как Мария, раненые?

– Плачет Мария. Раненым плохо. Они первыми не выдержат.

– Да, первыми... – словно во сне повторил Громов. И, в очередной раз вогнав лом в трещину, вдруг ощутил, что он вошел в мягкую породу, словно в кучу щебенки.

– Есть, Крамарчук! Щель!

– Дай лом. Теперь я...

– Подожди, сейчас. – Он яростно ударил еще несколько раз, вогнал железо поглубже, расшатал и наконец почувствовал, что в лицо повеяло холодком. Легко-легко. Совсем слабая струйка.

– Я со свежими силами.

– Чуешь, сержант? Чуешь? Воздух!

– Что-то ощущается, – еле слышно отозвался Крамарчук.

– Быстро за гранатами! Нужно заложить и рвануть.

– Нужно, – согласился сержант уже чуть-чуть громче и увереннее. – Я мигом! Но если меня долго не будет...

– Понял, Крамарчук, понял!

Вода леденила ноги. Лейтенант уже не чувствовал их. Но зато щель становилась все шире и шире, а струя воздуха все ощутимее. Значит, и там, в отсеках, дышать становится легче. Впрочем, доходит ли туда воздух? Должен. Мария... Господи, хотя бы она продержалась еще несколько минут! А раненые?.. «Несколько минут... Несколько минут...» – как заклинание, повторял он, все раздалбывая и раздалбывая щель.

По ту сторону стенки была пустота. Лом несколько раз вырывался из ослабевших рук и уходил в расщелину. Громов еле успевал поймать его за самый кончик. Вслед за ломом туда, в пустоту, уходила и вода. Но сейчас Андрея это уже не волновало. Запас воды в доте есть. Родник сохранится... Сначала доту нужно вернуть жизнь.

– Лейтенант! Бери! И веревка. Два куска.

– Молодец, сержант. Ну, гусары-кавалергарды!.. – вспомнились вдруг словечки комбата.

Громов затолкал в щель одну гранату. Вошла! Божественно. Подсказал бы кто-нибудь, как ее взорвать.

– Держи веревку.

– Отойди, сержант, – Громов выбрался из колодца, взял другую гранату и, подсвечивая себе фонариком, несколько раз вогнал ее в разлом. Вырвать чеку – и в разлом. Вырвать чеку – и...

– Крамарчук, за выступ!

Он и вырвал чеку так, словно тренировался. Раз, два, три... Еле успел откатиться от края колодца, как в нем рвануло, и хотя осколки камня и металла в основном вобрал в себя колодец, но все же часть их вырвалась наружу, и откуда-то с потолка на голову Громову упал кусок бетона, очевидно, отвисшего после взрыва снаряда.

– Что, лейтенант?! – бросился к нему Крамарчук, увидев, что тот потерял сознание. Подтянул его к колодцу, нагнулся и плеснул в лицо водой.

– Что за выстрел? Кто стрелял? – первое, что спросил Громов, придя в себя и откашливаясь от идущих из колодца дыма и гари. Нет, он не бредил, в доте действительно прозвучал выстрел.

– Полежи, я сейчас... Узнаю... Слышишь, дышать уже намного легче стало.

– Нам легче. А в отсеках?

– Отлежись. Молчи.

– Порядок. Лежу. Дай еще одну гранату.

17

На рассвете Орест Гордаш извлек из сена, которым были притрушены нары, своего «Обреченного», нащупал стеклышко и, усевшись напротив зарешеченного окна, принялся за резьбу. На куске липовой древесины еще только вырисовывались контуры тела – головы, мускулистых плеч, ног, – однако мысленно скульптор уже четко видел свое творение: «Обреченный» должен быть опутан веревками. Но мощное тело его, напрягаясь, пытается избавиться от пут. Это последняя попытка бунта человека, стоящего под виселицей, в которую превращен обтесанный ствол дерева со срезанной кроной.

«Господи, почему мне не пришло в голову вырезать такого “Обреченного” раньше, еще до войны? Сколько я бился, пытаюсь подыскать подходящий образ. Но каждый раз вновь и вновь принимался вырезать Марию. Телом он мог быть немного похожим на “Давида” Микеланджело. Или на его “Вакха”, – взволнованно размышлял Гордаш, размеренно соскабливая и соскабливая податливое древесное волокно липы уже основательно притупившимся осколком бутылочного горлышка. – А теперь что ж... Если уж Ты не послал мне раньше этот

сюжет – ниспошли хотя бы плохонький резец. Хоть какой-нибудь. Я ведь не гений, чтобы одним только стеклышком...»

– Что ты там мурыжишься? – долетел до него сонный голос Есаулова, чьи нары были рядом с его. – Лучше бы вспомнил напоследок что-нибудь эдакое, если есть что вспомнить.

– Мне нечего вспоминать, – резко отрубил Гордаш. В последние дни, после того, как в камеру к ним начал навещаться этот бывший поручик Розданов, Орест только и слышал от них: «казаки, казачество, рассказывали...» И понял, что по существу они сладили. Еще день-другой, и Есаулов согласится служить немцам. Тем более, что Розданов намекал, будто немцы собираются создать охранный казачий батальон. Правда, пеший, что Есаулову, прирожденному кавалеристу, не очень-то нравилось... Словом, он понял, что Есаулов решил сменить камеру тюрьмы на казарму охранного батальона, и начал презирать его. Лично он, Гордаш, служить немцам не собирался. Правда, он и в Красной Армии не очень-то наслушался. Но уж пусть извинят: он – скульптор, художник... Убивать – ремесло других. Даже если убийство это праведное, во спасение.

– И все же, на кой черт тебе эта деревяшка? Лучше бы уж подкоп делал, по крайней мере появилась бы надежда сбежать, вырваться на свободу.

– Я и так вырвусь. Разнесу вдрызг эту конуру, но вырвусь. Но я не крот. Мне нужно беречь руки.

– Он бережет руки! – изумился лейтенант Мащук. – Маэстро резца и кисти! Господи, а что мне, сбитому пилоту, беречь? Обожженные крылья, что ли?

– Не об этом нужно думать сейчас, – вмешался младший лейтенант Величан. – Думать нужно о побеге. Очевидно, расстреливать поведут не только нас двоих. Из других камер тоже подберут. Расстреливают у ограды сельского кладбища. Над ямой. Если сыпануть в разные стороны... Хоть один, да спасется.

– Или, по крайней мере, дать им последний бой, – согласился пилот.

Он был сбит над Молдавией во второй день войны, попал в плен, однако очень скоро сбежал из лагеря, уже с территории Румынии. Прошел всю Молдавию, переправился на левый берег Днестра, к своим... Казалось: все, свобода! Вконец измученный, он заявился под вечер в штаб какого-то пехотного полка, располагавшегося в приднестровской деревне. Там ему на удивление быстро поверили, через радиста из штаба армии успели сообщить о появлении сбитого пилота в штаб авиаполка. Беспредельно уставший, но счастливый, летчик напросился в дом какой-то старушки, устроил себе баньку и решил отоспаться.

Под утро ему снился вещий сон: гитлеровцы окружают его в крестьянской хате. Он отстреливается последними патронами, но петля смерти затягивается все туже и туже. Уже проснувшись, Мащук несколько минут лежал с закрытыми глазами и, слыша выстрелы, блаженно улыбался: это всего лишь сон. Почему-то очень быстро вспомнилось тогда, что он уже на левом берегу, среди своих, а на соседней улице – штаб полка, возле которого утром его подберет уезжающая в тыл машина. В чувство его привел страдальческий крик хозяйки: «Йой, утикай, сынку, нимци!..»

Да только убежать уже было поздно. Переправившиеся на рассвете десантники, которые должны были захватить плацдарм на левом берегу Днестра, уже вбегали во двор.

Рассказ Мащука о том, как он снова попал в плен, Гордаш слышал уже много раз. Не в силах простить себе того, что он «проспал свою офицерскую честь», лейтенант все казнил и казнил себя этими рассказами. Его уже выводили на расстрел, но в последнюю минуту в лагере появился какой-то эсэсовец, который, узнав, что должны казнить летчика, приказал отсрочить казнь на семь суток. Этого времени лейтенанту должно было хватить, чтобы решиться перейти на службу в люфтваффе.

– Может, и попробуйте. И кто-то спасется. Только не я, – Гордаш проговорил это без отчаяния, без страха, голосом человека, окончательно смирившегося со своей обреченностью.

– Потому что ты уже похоронил себя, – снова заговорил Мащук. – Ты себя уже похоронил, а мы все еще живы.

– И не так чтобы слишком уж долго тебе осталось жить, – заметил Есаулов. – Помнится, четвертые сутки сгнули из семи, отмеренных тебе оберштурмфюрером Штубером.

– Розданов, Штубер... Очень быстро ты заучил их фамилии. А как же: приглянулся их компании. Казак, видишь ли. Нет у нас казаков! Есть пролетариат. Сельский пролетариат. А казачье – это, считай, сплошь кулачье.

– Отпусти гашетку, идиот: ты уже все выстрелял. Все, чем тебя зарядили.

Услышав это, Гордаш насторожился. Он понял: завтра Розданов или этот самый Штубер добьются своего. Гордаш не осуждал Есаулова. Это даже не предательство: так, животное спасение жизни. «Он-то еще может как-то спасти ее, мне даже не предлагают, – мрачно размышлял Орест. – А если так... Что мне до Мащука, Есаулова? Все, что с ними случится, что случится в этом лагере, на этой земле – будет происходить уже без меня, в ином мире».

«Потому что ты уже похоронил себя, – громыхало у него в висках. – А мы еще живы. Ты уже... похоронил себя...»

Пленные еще долго говорили о чем-то своем, спорили, возмущались, взывали к судьбе. Однако Гордаш уже не обращал на них внимания. Иногда он просто-напросто не слышал их. У него в руках кусок древесины молодой липы. Плотникам, которым было приказано срочно переоборудовать это старинное, казарменного типа здание в тюрьму, не хватило березовых и кленовых досок. Вот они и свалили прямо здесь, в парке, несколько молодых лип, распилив их потом на доски.

Завершив работу, они старательно убрали после себя, но этот кусок липы каким-то чудом завалился под нарами. Плотники не тронули его, словно предчувствовали, что одним из первых, кто попадет в эту камеру, будет резчик по дереву, скульптор.

Глаза Ореста слезились, и все тело его время от времени пронизывала дрожь, сдерживать которую становилось все труднее, ибо порождалась она не столько утренней прохладой, сколько истощением и болью, которые вот уже много дней подтачивали и разрушали его могучий, жаждущий жизни организм. Гордаш не верил, что отыщется сила, способная остановить это разрушение. Однако чем больше убеждался в этом, тем старательнее не то что вырезал – пестовал каждую линию, мышцу, каждую жилку своего «Обреченного».

Так, со стекляшкой и куском древесины в руках, он вдруг уснул, не расслышав, как дверь камеры отворилась и вошли два немецких офицера в сопровождении полицая. Проснулся лишь тогда, когда один из офицеров носком сапога приподнял его руку, чтобы лучше разглядеть зажатую в ней вещицу.

Все еще сидя на полу, пленный растерянно уставился на эсэсовца, но очень быстро опомнился и, отдернув руку, прижал «Обреченного» к груди: чужеземцу не должно быть дела до того, что он вырезал этой, может быть, последней своей ночью. Теперь Гордаш жалел, что не успел, как обычно под утро, спрятать статуэтку под нары. Больше всего он боялся в эти дни, чтобы «Обреченный» не исчез вместе с ним. Он уже взял слово со своих сокамерников, что когда его уведут на казнь, они будут передавать статуэтку друг другу, авось кому-нибудь удастся выбросить «Обреченного» в кювет, где его подберет какой-нибудь мальчишка. Подберет и сохранит.

– Ты вырезал это здесь? – спросил эсэсовец почти на чистом русском.

– Мы обыскивали его, когда переводили сюда из лагеря, – поспешил заверить полицай, очевидно начальник тюрьмы.

Но эсэсовец никак не отреагировал на это объяснение. Сейчас его интересовало не состояние дисциплины, а нечто другое.

– Я спрашиваю: ты создал это здесь, в камере? Или, может быть, принес с собой?

– Где же еще? – прогрохотал своим осипшим басом Гордаш.

– С офицером нужно говорить стоя, – напомнил эсэсовец. – До тех пор, пока идет война и ты числишься ее рядовым или ее пленным, с любым офицером нужно говорить только стоя.

Орест взглянул на нары. Никто из заключенных, лежавших на них, даже не поднял головы. Но это не от безразличия – от страха. Замерли, закрыв глаза, и молятся.

– Я не солдат, я семинарист. Приказывай кому-нибудь другому.

– Он действительно учился в семинарии, мы выяснили, господин офицер, – снова вмешался полицай. – Но форма-то на нем солдатская. Значит, успели одеть, хотя и не постригли. Это мы его уже здесь обезволосили.

Офицер что-то проворчал по-немецки, вырвал из рук Гордаша «Обреченного», долго рассматривал, поднеся его к окну, к солнечному свету.

– Давно увлекаешься этим?

Орест не ответил. Разве не все равно, когда именно созрело в нем это ремесло. Его, семейное... Страшно, что не сегодня завтра оно умрет вместе с ним.

– Отвечай, дурак, когда тебя спрашивает немецкий офицер, – пробубнил полицай.

– Я ведь не спрашиваю, кто и зачем оставил тебя в немецком тылу и кто руководитель диверсионной группы, в которую тыходишь? – предельно вежливо заметил эсэсовец. – Речь идет всего лишь об искусстве.

Еще раз внимательно осмотрел «Обреченного» и бросил его Гордашу.

– Да он с детства этой дурью мается, – снова заговорил полицай, видя, что Гордаш так и не собрался с духом для объяснений. – Отец, дед и прадед его были художниками, ну, богомазами, по-нашенски. Церкви, соборы, монастырские стены расписывали, иконы обновляли.

– Вот как? – впервые оглянулся на полицая эсэсовец. – Они были известными в этих краях мастерами? Вы лично знали их?

– Деда немного знал. Он в нашем селе церковь обновлял. Как только обновил, коммунисты ее тут же и взорвали! – расхохотался. – Дали закончить работу, даже откуда-то из района или области приезжали – полюбоваться, работу похвалить. А потом ночью саперов прислали. Ну, те ее аккуратненько... Какой с них, коммунистов-нехристей, спрос?

– Значит, ты перенимал науку отца? А для того чтобы получше освоить иконопись, подался в семинарию? Там изучал Библию, знакомился с работами лучших мастеров-иконописцев мира: Джорджоне, Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти? Я никого не забыл, ничего не напутал?

– Все точно, – вдруг довольно добродушно подтвердил Гордаш и только теперь, наконец, поднялся.

Увидев этого гороподобного исполина во весь его рост, оберштурмфюрер удивленно отступил назад и, пораженный, осматривал его, словно перед ним возникла еще одна скульптура, вполне достойная резца великого Леонардо.

– Наконец-то я слышу здоровый голос мастера. Правда, мне нечасто приходилось бывать в залах Дрезденской картинной галереи, но все же кое-какое представление о живописи и скульптуре итальянских и нидерландских мастеров эпохи Возрождения получил. Этого не расстреливать, – уже другим, резким тоном обратился к полицая. – Пока что. Скульптор тем и отличается от любого смертного, что прежде чем умереть, должен позаботиться о своем бессмертии. Поэтому грех убивать мастера, не закончившего свою работу. Воз-

можно, это единственное, что на войне действительно стоит считать грехом. Или, может, я ошибаюсь, а, местный Микеланджело? Кто там у вас в списке первый, полицейай?

– Стефан Рануш, – развернул тот свою бумажку. – Выходи.

– Расстреливать будем по одному, – вздохнул Штубер, наблюдая, как молча, медленно идет к двери седоволосый крестьянин. – А что поделаешь? Кто-то из них наверняка знает что-либо о подпольщиках, диверсантах или просто оставшихся в тылу коммунистах. Значит, не выдержит и скажет. Жестокая реальность войны.

Оберштурмфюрер еще раз внимательно всмотрелся в заметно исхудавшее, слишком рано подернутое едва наметившимися морщинами лицо скульптора, и в глазах его вспыхнул хищный огонек какой-то, пока что только ему одному ведомой, идеи.

– Да, ничего не поделаешь... А этого не трогать, – напомнил полицейай и офицеру, коменданту лагеря, за все это время так и не проронившему ни слова.

18

Крамарчук, пошатываясь, побрел в темноту подземелья, а Громов, немножко отлежавшись, снова спустился в колодец. Голова гудела. Волосы слиплись от крови. Он промыл голову водой и одну из гранат засунул в расщелину, загнав ее чуть-чуть наискосок, чтобы от взрыва другой гранаты она не вылетела в пустоту.

Опять взрыв. Опять дым, гарь, чадная пыль... Но зато на этот раз наружу осколки почти не вырвались. Все вобрало в себя стены. Пролом оказался таким большим, что вода буквально хлынула в него, и, спустившись через несколько минут в колодец, Громов уже ощутил ее только на скользком дне, между грудками щебенки. «Почему я не позаботился о запасном выходе раньше? – корил себя лейтенант. – Можно было испытать этот путь, сохранив колодец. И почему его не предусмотрели военные инженеры?» Впрочем, вопросов в связи с устройством «Беркута» возникало много. Только задавать их некому.

Пошарив под осколками камня, Андрей нашел лом и снова принялся расширять щель. Наконец луч фонарика осветил такой пролом, в который лейтенант довольно легко мог протиснуться. Еще не веря в удачу, Громов начал прощупывать лучом таинственный потусторонний мир. В общем-то, ему открылась всего лишь небольшая пустота, что-то в виде сталактитовой пещеры. Но в конце ее обнадеживающе чернел еще какой-то коридор.

«А вдруг за ним – другая, более широкая пещера? – с волнением подумал он, всматриваясь в черноту прохода. – И оттуда можно пробиться дальше? А если нет?» – Андрей с болью проглотил сухой горьковатый комок, застрявший было в горле, и постарался поглубже вдохнуть влажный, отдающий плесенью воздух. Сейчас он с ужасом подумал о том, что последует за этим «если нет». «Молись удаче, Громов, – сказал он себе. – Своей солдатской фортуне молись».

Он уже был наслышан о местных пещерах, пустотах, о целых подземных дворцах, которые исследовались отрядами добровольцев-спелеологов. Но если дальше пещеры действительно нет? Что тогда? Тогда нужно продержаться в доте еще двое-трое суток, пока фашисты не уйдут от него. И попытаться пробиться через артиллерийскую амбразуру или через дверь.

Как бы там ни было, у них появился кое-какой шанс на спасение, появилась надежда. Главное – не задохнуться. О Господи, как же не хочется возвращаться в этот дот! Да, кто же там стрелял? Неужели?! Нет, не может быть... Мария не могла этого сделать. Мария не могла!

Нужно перенести ее сюда, к колодцу, решил он, выбираясь наружу. И раненых тоже. Всех.

На развилке, откуда ход сообщения вел к пулеметной точке, луч фонарика одну за другой выхватил две фигуры.

– Помоги, лейтенант!

Крамарчук! Сам уже обессилевший, он все же нес на спине Марию. Санинструктор была без сознания.

Вдвоем они быстро донесли ее до колодца. Громов сразу же спустился в него и несколько раз плеснул Марии водой в лицо.

– Подвинь ее поближе к колодцу, здесь больше воздуха, – попросил он Крамарчука. А когда сержант сделал это, спросил: – Где Каравайный? Нужно побыстрее перенести сюда раненых.

– Поздно, лейтенант.

– Не понял.

– В «Беркуте» нет больше раненых.

– Яснее, сержант, яснее!

– Мария сумела подползти поближе к вентиляционной трубе. Оттуда поступало немножко воздуха. А раненые подползти не сумели. К тому же потеряли много крови.

– Что, Абдулаев тоже?

– Все.

– Это он стрелял? Нет? Тогда кто, кто?! Кравчук? Газарян? – Лейтенант допытывался об этом с такой страстью, словно для него действительно было крайне важно узнать, кто осмелился уйти из жизни этим путем, упредив мученическую смерть.

– Я сейчас, комендант.

– Возьми фонарик. Захвати гранаты.

Когда Крамарчук ушел, Громов еще раз плеснул Марии в лицо, похлопал ее по щекам, а услышав тихий сдавленный стон, погладил по щеке и нежно, словно боясь разбудить, поцеловал в губы.

– Несколько минут... Продержись, милая. Несколько минут, и все будет хорошо...

Осторожно, боясь поранить, он стащил Марию в колодец и усадил, прислонив ее к стене напротив пролома.

– Абдулаев, Абдулаев... – тихо прошептала она. – Не оставляй их. Я... я сейчас.

«С этими словами она ушла из отсека, – понял Громов. Искать его, Громова, искать Крамарчука... струйку воздуха.

– Он с ранеными, – сказал Громов. – Посиди здесь. Я скоро вернусь.

– Ты, Андрей? Где мы? Почему темно? – она коснулась пальцами его лица, и Андрей почувствовал, как к горлу подступил уже иной комок – нежности и жалости.

– Потерпи, милая, потерпи. Я – к раненым... Там беда.

Лейтенант на ощупь добрался до энергоотсека и позвал Каравайного. Ответа не было. Дышать теперь стало легче, но все равно, ступив в отсек, он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Воздух там был тяжелым, угарным.

– Эй, моряк!

– Я уже разведал, – раздался за спиной голос Крамарчука. – Это он стрелял. Не ходи в отсек, лейтенант.

Громов включил фонарик и повел лучом по отсеку. Каравайный лежал за машиной, Андрей увидел только его ноги. Подойти поближе не решился. Да и какой смысл?

– Немного поспешил, – вздохнул Крамарчук. – Зато по-солдатски...

– Дрянные мы с тобой командиры, сержант, – мрачно произнес Громов, принимая из рук Крамарчука автомат. Хотя и не понял, зачем сержант прихватил его. – Не сумели сохранить людей. Groш нам цена.

– Так сложились обстоятельства. Мы-то здесь при чем?

– Обстоятельства... Это не оправдание. Ну да что уж тут? Пробирайся к Марии. Еще бы один фонарик...

– Я прихватил свечу. Попытаемся пробиться через колодец в пещеру?

– Иного пути пока не существует.

Присвечивая себе, Громов добрался до санчасти. Там он подошел к каждому бойцу, осмотрел, мысленно попрощался. Уже уходя, наткнулся на зажатую в руке Абдулаева гранату. Очевидно, боец припас ее на тот крайний случай, когда фашисты ворвутся в дот, да так и умер, боясь расстаться с ней.

Громов разжал пальцы, осторожно забрал гранату. Абдулаеву она больше не нужна. Приказ сражаться до последней возможности касался только живых.

Уходя из командного пункта с четырьмя гранатами, он вдруг услышал зуммер телефона. «Интересуются, живы ли, – понял он. Хотел поднять трубку, но вовремя остановился. Пусть немцы считают их погибшими. Они не должны догадываться, что часть гарнизона все же спаслась от удушья.

Громов уже не помнил, как добрался до колодца. А когда с помощью Крамарчука и Марии пролезал через пролом в стене, то делал это словно во сне.

– Слышишь, сержант, – сказал он уже по ту сторону пролома, теряя сознание, – пока мы живы... Приказ один: сражаться.

– Ясно, командир. Живым приказано сражаться – что здесь неясного?

19

Очнулся Громов от толчка в грудь.

– Командир, командир, – услышал долетающий откуда-то справа от него, из темноты, голос. И не сразу понял, что он принадлежит Крамарчуку. – Очнись. Надо отползти. Я заложил две гранаты.

– Что? – едва слышно отозвался лейтенант. – Какие гранаты? Где Мария?

– Надо отползти, – порывисто сопел ему на ухо сержант. – Я их тесьмой подорву. А Мария отдышалась. В пещерке она. Ну здесь, рядом, в пещерке.

Огромным усилием воли Громов заставил себя оттолкнуться спиной от влажного известняка и, где поддерживаемый, а где бесцеремонно подталкиваемый Крамарчуком, тоже пополз за выступ.

– Две гранаты, командир. Козырные. Или – или... – почти хрипел над ним Крамарчук. – Но, думаю, прорвемся.

– Где остальные? Остальные бойцы где?

– Какие остальные? Бредишь, что ли? Трое нас осталось. Лучше помолись гранатам. Только бы хорошо рванули, ни любви им, ни передышки.

– Да рванут они. Должны, – бесшабашно как-то ответил Громов, почувствовав наконец, что к нему возвращается сознание, а вместе с ним и уверенность. – Действуй, сержант, действуй. Не тяни.

В голосе лейтенанта вдруг настолько четко зазвучала командирская нотка, что Крамарчук не сдержался и ответил: «Есть!» Хотя субординацию он не очень-то соблюдал даже в первые дни их службы в доте, когда Громов по-настоящему нажимал на дисциплину.

– Только надо за пролом... Здесь нас иссечет.

Громов пролез первым и уже затем помог пробраться Крамарчуку. Теперь Андрей чувствовал себя неловко за то, что на несколько минут умудрился потерять сознание. А ведь не должен был. Физически он в общем-то крепче Крамарчука. Это все ранение в голову... Ранение и удушливые отсеки. Они сделали свое дело.

Слабая струйка воздуха, поддерживавшая их в той, большой пещере, сюда, за пролом, теперь уже почти не доходила. Наверно, мешали вставленные в трещину гранаты. Дышать сразу же стало тяжелее.

– Мария! Где ты?

– Здесь... – то ли вздохнула, то ли простонала медсестра. Но лейтенант так и не понял, откуда исходил этот стон.

– Во спасение души, командир. Отсалютуем напоследок.

Взрыв показался Громову таким мощным, словно взорвались не противопехотки, а двухсоткилограммовая бомба. Вместе с воздушной волной сотни каменных и металлических осколков ударили в выступ, за которым они притаились, в своды их укрытия, смертоносным смерчем пронесли над головой.

– Живы? – первым опомнился лейтенант, когда пыль и гарь немного развеялись.

– Во спасение души, командир. Мария, ты где?

– Вроде легче... – тихо ответила медсестра. И только теперь Громов понял, что она пряталась чуть дальше от них, в небольшой нише. – ...дышать легче. Может, это кажется?

– Сейчас посмотрим, – поднялся Громов. Но как только тронулся с места, сразу ощутил боль в икре левой ноги. «Неужели осколок?! – почти с ужасом подумал он. – Когда ж он успел, сволочь? Да нет, – успокоил себя, – не должен был. Царапина, обычная царапина. Порода здесь на редкость мягкая, не то что в районе дота. Это нас и спасло: осколки почти не рикошетили».

– погоди, комендант, свечу зажгу.

Однако ждать Громов не мог. Скользя по каменной крошке, он на ощупь пробирался к новому пролому, на который его выводила струя все того же сыроватого, отдающего прелостью, воздуха. Вот и стена. Споткнувшись о камень, лейтенант буквально упал на нее, но успел ухватиться руками за рваные края пролома. И раны-ссадины на пальцах не в счет. Лихорадочно ощупал проход. Узкий, слишком узкий! Вряд ли в него можно будет протиснуться, но все же...

– Что там? – возник у него за плечом Крамарчук.

– Не пройдем. Но дальше вроде посвободнее. А вообще-то нам «везет»: из одного sklepa в другой.

– Давай попробую, – взволнованно зашептал на ухо сержант. – Авось проползу. По-змеиному.

– Неплохо бы...

Однако после третьей попытки прорваться через пролом сержант зло выругался и осел у ног лейтенанта.

– Еще бы одну гранату. А лучше бы – лом. Ведь слой-то небольшой: взломать его – и прорвемся. Но лом остался где-то там, позади. Искать надо.

– Может, мне попробовать? – Громов даже не заметил, когда Мария успела подойти к ним.

– Не торопись. Еще неизвестно, что там, за проломом.

– Неизвестно? Значит, нужно узнать, – лейтенанта Мария буквально оттолкнула, Крамарчуку приказала не путаться под ногами и начала осторожно ощупывать пролом.

Мужчины напряженно молчали, ожидая ее решения. Она была потоньше их обоих и, конечно, могла бы разведать, что скрывается за этой стеной спасения.

– Ну что? – не выдержал наконец Крамарчук. Молчание Марии казалось ему пыткой. – Рискнешь?

– Можно попытаться. Только жаль, одежду изорву.

– Ага, на танцы не попадешь. Не в чем будет. Пробуй, красавица, пробуй, платье мы тебе потом подберем.

«Автомат... Где автомат? Нужно попытаться короткими очередями сбить эти выступы», – лихорадочно соображал Громов, понимая, что даже если Мария пройдет через пролом, это проблемы не решает. Они-то останутся по эту сторону. Ну, а думать о том, что, этот пролом ведет в еще одно небольшое намертво закрытое подземелье, что это пролом в никуда, ему просто не хотелось.

– Что там у тебя? Чего застряла? – доносились до него вместе со струей живительного воздуха хриплые слова Крамарчука. – Ага, бедра, говоришь?! Кто ж виноват, что ты такая бедрастая? У меня такая же... была, – с грустью добавил он. – Кормил, кормил, а она только в бедрах и раздавалась.

«Вот трепач!» – с горькой досадой подумал Громов, не терпевший никаких сальностей. Но понимал: для перевоспитания единственного оставшегося в живых, да еще и спасшего тебя солдата этот каменный мешок – место не самое подходящее.

Автомат он нащупал именно в ту минуту, когда услышал радостный крик Марии: «Все! Я здесь!» Уже теряя сознание, он, оказывается, умудрился положить оружие в нишу. Жаль только, что куда-то исчез фонарик.

– Что там, Мария? – спросил он. – Свет видишь?

– Да, что-то такое... Вроде бы сереет... Только далековато отсюда.

– Сможешь пройти туда?

– Скользко здесь. Где-то недалеко родник. Ручеек струится.

«Ничего она там одна не разведает! – понял Андрей. – Слишком много эмоций».

– Крамарчук, нужно вернуться в дот. Найти еще гранаты. Отыскать лом. И прихватить оружие.

– То есть как это – в дот? – растерянно переспросил сержант. – Что, одному вернуться, что ли?

– А нас здесь целый взвод?

– Так что, одному, что ли? – встревоженно переспросил сержант. И только теперь Громов понял, что дело не в лени. Просто Крамарчуку страшновато возвращаться в дот, где в каждом отсеке трупы, кровь... И где все еще можно задохнуться. – Все-таки нас трое... Может, потом, а?

– Ладно, прекратить, – хладнокровно прервал его лейтенант. Даже сейчас он старался ничем не выдавать своего раздражения. – Мария, где ты?

– Здесь я! – по тому, что голос ее прозвучал словно из колодца, Громов понял: подземелье уводит вниз. Значит, все же не вверх, как он ожидал, а вниз. И отошла она уже довольно далеко. Это насторожило Андрея. Однако назад пути нет.

– Стань за ближайший выступ. Порода мягкая, попробую расширить пролом очередями из автомата.

– Я уже за поворотом!

– Все время кричи! Не умолкай. Мы должны знать, где ты и что с тобой. В сторону, сержант. Кстати, приказ вернуться в дот ты обязан был выполнить, не задавая лишних вопросов, немедленно.

– Да я что? Только вместе бы...

Громов еще раз внимательно ощупал пролом и, вставляя в него автомат, начал короткими очередями крошить каменные выступы.

Несколько каменных брызг посекали руку, которой он держал рожок с патронами шмайзера, и, перезаряжая автомат, Громов почувствовал, что она кровоточит. Но, только выстреляв почти весь второй магазин, приказал: «Крамарчук, проверь!» – и, усевшись под стенкой, достал из кармана пакет. Раны, очевидно, были пустяковые. Но зато каждую минуту напинала о себе нога. И он никак не мог понять: остановилось там кровотечение или все еще продолжается. Не хватало только, чтобы, сидя здесь, он истек кровью.

– Наверно, хватит, лейтенант. Теперь я проползу. Жаль, что нет приклада.
Крамарчук уже был по ту сторону пролома, когда откуда-то издали снова донесся крик Марии:
– Свет, Андрей! Свет!
– Не может быть, – проворчал Громов. – Не может быть, чтобы из этой каменной могилы существовал какой-либо выход.
– Почему не может? – возмутился сержант. – Мария видит свет.
– А потому, что не может быть, чтобы мы вот так, просто, вырвались из этого подземного ада, сержант! – отрубил Громов, с большим трудом протискивая плечи в пролом. – Где Мария? Крамарчук, быстро к ней! Разведай выход! Вдруг там всего-навсего щель.

20

– Ну-ка, Гордаш, позвольте полюбоваться вашим произведением, – Штубер взял из рук ефрейтора, который сопровождал заключенного, деревянную статуэтку, внимательно осмотрел ее со всех сторон, поставил перед собой на стол. – Работа пока не завершена, я верно понял?

– Какое вам дело до нее? – мрачно басил Гордаш. Огромный, неуклюжий в своей широкой гимнастерке без ремня и порванных галифе, облепленных комьями глины и стеблями сена, он был похож на человека, который только что выбрался из тайного укрытия, где провел по меньшей мере полгода.

– Странный вопрос, красноармеец Гордаш. – Штубер вышел из-за стола, отошел к окну и еще раз осмотрел статуэтку «Обреченного» уже при свете яркого предобеденного солнца. – Произведением искусства имеет право любоваться или по крайней мере оценивать его любой человек. И вообще, как говорят ваши вожди, искусство принадлежит народу, – оберштурмфюрер добродушно улыбнулся. Гордаш заметил именно это: улыбка его была до наивности добродушной. – Я, конечно, мог бы строже оценить вашу работу, найдя в ней немало изъянов. Но понимаю, в каких условиях создавался ваш «Казненный».

– «Обреченный».

– Что? «Обреченный»? Пардон, не всмотрелся в музейную этикетку. Да, вы правы: так будет точнее – «Обреченный». Так вот, я понимаю, в каких условиях и каким инструментом вы создавали это свое произведение. Узнав, чем вы – тоже, кстати, обреченный на казнь, не буду скрывать этого, – занимаетесь в камере, я как человек, любящий искусство, долго думал, каким бы образом помочь вам.

– Помочь?

– Сразу предупреждаю: спасти от уготованного вам расстрела я не смогу. Оказавшись в нашем тылу, вы, вместо того чтобы сдать властям, сколотили группу партизан, вооружились пулеметом и продолжали нападать на наших солдат и наши обозы. Однако мы уклонились от темы. Я решил помочь вам и в то же время провести уникальный эксперимент, к которому не прибегал еще ни один человек в мире. Посмотрите, что я достал специально для вас. Подойдите к столу.

Когда Гордаш приблизился на несколько шагов, Штубер достал со стоящего в углу сейфа газетный сверток, развернул его и положил на стол.

Взглянув на то, что лежало на газете, пленный отшатнулся.

– Да, это кость! – подтвердил Штубер. – Обычная, человеческая. Я консультировался со специалистом. Она, конечно, не столь податлива, как древесина липы, однако вполне подойдет для работы.

Гордаш еще раз присмотрелся к кости. Она казалась еще довольно свежей. Орест затруднялся определить, какой части тела она принадлежала, но не это интересовало его

сейчас. Неужели эсэсовец заставит его вырезать что-либо из человеческой кости? Зачем это ему?

– Логика очень проста, – словно бы вычитал его сомнения и страхи Штубер. – Зачем воплощать образ человека в дереве, глине или камне, если рядом, в буквальном смысле у нас под ногами, столько прекрасного поистине человеческого материала? Причем с каждым днем его становится все больше. Сын человеческий, вырезанный из кости человеческой, – разве это не апофеоз реализма?

– Это что, действительно человеческая?

– Я же честно признался, что провожу своеобразный эксперимент. Так неужели стану обманывать вас и самого себя? Для чистоты эксперимента я даже приказал изъять эту кость именно из трупа повешенного. Помня, что ваш «Обреченный», как вы его называете, стоит под виселицей. Мне хотелось бы, чтобы вы повторили его, сделали, так сказать, копию, только уже из кости. Берите, берите, не смущайтесь.

Гордаш протянул было руки к свертку, но тут же отдернул их и нервно потер о гимнастерку, словно уже сейчас пытался отмыть-оттереть от прикосновения к этому страшному материалу.

– Я верю, что вы настоящий скульптор. По призванию. И кто знает, возможно, здесь, над этой... как называется ваша река? Ах да, Днестр. Так вот, здесь, над Днестром, я открою славянского Микеланджело. Но даже если вам и не удастся сравниться с несравненным италянцем, все равно это будет неподражаемое произведение. Вдумайтесь: фигурка обреченного, вырезанная обреченным в камере смертников из кости бывшего обреченного. Не спешите, не спешите отказываться! – впервые повысил голос Штубер. – Прежде чем говорить «нет», вдумайтесь в то, что я сказал. Ибо потом миллионы людей, пришедших посмотреть на вашу работу в музей Берлина, Дрездена или Киева, будут точно так же задумываться над глубоким философским смыслом, заложенным в саму идею создания этого своеобразного шедевра. Фигурка обреченного, вырезанная обреченным в камере смертников из кости обреченного! Да такое произведение просто-напросто обречено на славу и вечность. Вы можете вспомнить нечто подобное в мировом искусстве? Так можете или нет?!

– Нет, – выдавил из пересохшего горла Гордаш. – Такого не было. Я бы знал, если бы...

– И я бы знал. Это было бы описано во многих пособиях по искусству. Следовательно, пока что до этого еще никто не додумывался. Я дарю вам не просто идею, я дарю вам бессмертие, которое не способен подарить даже Господь Бог. Уверен, что эта работа, как беспрецедентная, обойдет с выставками все музеи мира. Лучшие музеи. Которые будут почитать за честь видеть у себя «Обреченного» работы знаменитого подольского мастера Гордаша.

Штубер открыл стол, достал из него маленький сверточек и бросил рядом с костью.

– Здесь три резца разной конфигурации. Все, что удалось раздобыть в этом захолустном городке. Если понадобятся еще какие-то инструменты: напильник, ножовка... – сообщите коменданту лагеря. Добудем все необходимое.

Кроме того, в течение двух недель никого из вашей камеры казнить не будем, чтобы не травмировать вас.

– Я христианин. Учился в семинарии. Я не могу... из человеческой кости, – проговорил Гордаш, не отводя взгляда от открывшихся ему резцов, сам вид которых действовал на него привораживающе.

– Сможешь. Если хочешь продлить жизнь своим товарищам и свою собственную – сможешь.

Гордаш взял резцы, сжал в руке один из них и свирепо взглянул на оберштурмфюрера.

– Разве что из твоих костей, – почти шепотом проворочал пленный.

Однако Штубер расслышал. Он холодно смерил великана с ног до головы, положил руку на кобуру.

– Кому принадлежала кость, из которой вырезан «Обреченный» – уточнять музеи не будут, – процедил он. – Для искусства это особого значения не имеет.

Гордаш положил резец к двум другим, снова завернул их в бумагу и сунул в карман. В свою очередь Штубер сгреб газету, в которой лежала кость, ткнул ему в руки, а сверху положил «Обреченного».

– Ефрейтор, увести! – приказал по-немецки. А когда Гордаш ступил за порог, крикнул вслед ему по-русски: – Мастер должен заботиться не о собственной жизни, а о жизни своих творений! Только тогда он настоящий мастер! Я обещаю сохранить имя творца этой скульптуры. Чего еще желать тебе, обреченному?!

21

Около часа, раздирая одежду, разбивая в кровь локти и колени, выползали они лисьим лазом, как назвала его Мария, из карстовой пещеры. И когда наконец увидели над головой небо, то уже не в силах были даже обрадоваться ему.

Впрочем, видеть могли пока лишь небольшую полоску неба – ровно столько, сколько позволило глубокое каменистое ущелье, в котором они оказались. И поскольку равнинного выхода из этого ущелья не было, то оно скорее напоминало провал или воронку от упавшего здесь тысячу лет назад метеорита.

Склоны этой воронки оказались крутыми, почти отвесными, и лишь серые камни-валуны, которыми они были усыпаны, позволяли выкарабкаться из нее без альпинистского снаряжения.

– Погибельная какая-то дыра, командир, – уловил его настроение Крамарчук. – Посмотри на склоны: ни одного кустика.

– Все в норме, – устало ответил Громов, чуть приподнимая голову и отыскивая взглядом медсестру. – К черту кустики! Главное, что мы опять на этом свете. Пока что отдыхать. Но прислушиваться.

И только тогда радостно улыбнулся: «Неужели действительно спасены?!»

Сшитая из шинельного сукна уже в доте, юбка Марии выглядела намного приличней, чем их изорванные брюки. Но нужно было видеть еще и ее ничем не защищенные ноги. Это были две сплошные кровоточащие раны, и странно, что ни там, в лисьем лазу, ни уже здесь, на этих холодных безжизненных камнях, Андрей не услышал от медсестры ни стоана, ни жалобы.

Девушка лежала на спине так, что голова ее свешивалась с невысокого плоского валуна, а четко очерченная налитая грудь казалась непомерно выпуклой, словно Мария хотела во что бы то ни стало дотянуться ею до первых, падающих где-то на метр выше, лучей невидимого солнца. Громов старался смотреть на грудь медсестры, чтобы не видеть ее ног. Впрочем, разглядывать ее сейчас, такую измученную, было с его стороны подло – он это тоже понимал.

Несколько минут Андрей лежал молча, закрыв глаза. При этом он очень чутко прислушивался к каждому доносившемуся из-за пределов этого затерянного мира звуку. Больше всего он боялся сейчас услышать человеческую речь: немецкую, румынскую, даже русскую. Кто бы из врагов не обнаружил их – они по существу оказывались беззащитными. Любой обозник мог перестрелять их здесь, между камнями, как в тире. Промахи только подзадоривали бы его.

Однако речи не прозвучало. Беглецов томила своей затаенностью настоящая на камнях и сосняке замшелая первородная тишина.

Отлежавшись, лейтенант, ни слова не говоря, поднялся, забросил за спину автомат и по заранее примеченной расщелине начал взбираться наверх. Увидев это, Крамарчук тоже

поднялся, но последовать за командиром у него уже не хватило сил. Вот если бы лейтенант приказал...

Их ущелье оказалось посреди небольшого ельника. Вся земля вокруг была усеяна такими же камнями, как и склоны ущелья, только здесь они были помельче и все до единого присыпаны, словно замаскированы, многолетним слоем хвои.

Пробравшись через заросли, Громов внимательно осмотрел простиравшуюся перед ним небольшую равнину, отделявшую ельник от леса. Местность показалась ему знакомой. Да, вон и тропинка, которой еще совсем недавно они с Кожухарем шли от батальонного дота к своему «Беркуту». Мог ли он предположить тогда, что вернется к ней вот так, почти что с того света?

– Что тут слышно, комендант? – появился возле него Крамарчук.

– Знакомая тропинка, узнаешь?

– Пока нет.

– Слева, в километре отсюда, дот комбата. Справа, где-то вон там, должен быть обрыв.

За ним, внизу, наш «Беркут».

– Значит, ушли мы совсем недалеко. А под землей казалось, что вынырнем возле Днепра. Надо уходить отсюда подальше, командир, пока нас не выловили. Фашисты будут осматривать каждый куст.

– По всей вероятности, они уже сделали это.

– Все равно подальше.

– Где медсестра?

– Вместе выползли. Прихватила бы она с собой сумку с медикаментами, мы бы хоть раны ей перевязали.

Громов достал из кармана так и не использованный им пакет и ткнул в руку сержанту.

– Отнеси. И осмотри местность по ту сторону ущелья.

– Есть, комендант.

Это его «комендант» уже начинало раздражать Громова, но запретить называть себя так он не решался. В конце концов, Крамарчук и Мария – последние, кто помнил, что еще несколько часов назад он действительно был комендантом. И в этом обращении Крамарчука, наверно, было что-то и от обжигающей болью памяти, и от преданности, и от солдатского братства. Хотя раньше, в доте, он называл его в основном командиром.

«Мотоциклы?! Точно. И еще... Грузовик? Нет, кажется, легковая».

Лихорадочно проверив автомат, Громов заполз в заросли и поднялся на небольшой увенчанный тремя густыми елями, холм. Лучшего места для обороны, чем этот холм, здесь не найти – это он сразу понял. Да только долго ли продержишься, если на троих – один рожок к шмайсеру и пистолет с двумя обоймами? К сожалению, из-под елей не видно было ни мотоциклов, ни машины, хотя они проходили где-то рядышком. Неужели собираются окружать рожицу? Что они, сквозь землю видели, как трое выбирались из дота?! Разве что солдаты, окружавшие дот (не могли же немцы так сразу оставить его без присмотра), услышали подземный взрыв и догадались, в чем дело. Теперь этот самый Штубер кружит возле дота, выискивая спасшихся.

Ага, вот и они. Хорошо, что он не сменил позицию. В данном случае ему помогла собственная нерасторопность. Мотоцикл, легковушка, еще два мотоцикла... Нет, таким «королевским парадом» на прочесывание местности немцы не выедут.

– Комендант, – услышал он растерянный голос Крамарчука. – Где ты? Немцы!

– Вижу, – негромко ответил Андрей. – Возвращайся к медсестре. Ждите меня в ущелье.

Но через минуту и сержант, и медсестра уже были рядом с ним. Тем временем, поравнявшись с ельником, первый мотоцикл неожиданно свернул направо и, проехав метров двести, остановился. За ним последовала машина. «Там обрыв, – понял Громов. – Под ним –

“Беркут”. Отсюда, с этой линии, генерал, которого они охраняют, сможет прекрасно видеть в бинокль все три дота с их секторами обстрела, позиционными преимуществами и недостатками. Но зачем это ему? Ведь фронт уже далеко».

Многое бы он отдал, чтобы иметь сейчас бинокль и присмотреться к тем троим, что остановились на краю обрыва. Впрочем, двое держались чуть в сторонке. Подчеркнуто не мешая старшему. О чем они там говорят? Очевидно, изволивший прибыть сюда генерал считается специалистом по фортификации. И вслед за этим общим осмотром он пожелает побывать в одном из дотов. Доставить бы такого языка через линию фронта!

– Ты видишь, командир, – взволнованно прошептал Крамарчук, – как они разгуливают? Генерала по лесу возят. Где же наши? Заметил, даже стрельбы не слышно?

– Придет – время выясним, сержант.

Осмотр длился недолго. Офицеры сели в машину, мотоциклисты мигом развернулись, и вскоре вся колонна скрылась в долине, по которой, как вспомнил лейтенант, проходила дорога, ведущая в город. А еще где-то здесь, недалеко, он чуть было не попал в лапы десантников из дивизии «Бранденбург».

– Но если наши уже далеко, что тогда будем делать мы? Идти по тылам сотни километров до своих? Так ведь не пройдем. Через фронт не пробьешься. Или переждать, пока уляжется? Как тебе это предложение?

– Переждать не выйдет, сержант, – властно улыбнулся Громов, поднимаясь, чтобы лучше осмотреть окрестности. Ели маскировали его. Лучшего наблюдательного пункта здесь не найти.

– А что, присоседиться к какой-нибудь молодке... Одобряешь, доктор Мария?

– Ты видел эту машину? Будь у нас еще один автомат, пару магазинов с патронами и хотя бы одна граната... Думаешь, мы не дали бы им бой? Не сбили с них спесь? Не поубавили наглости? Но у нас ведь будут и автомат, и патроны. И за гранатами дело не станет.

Громов взглянул на сержанта, на поникшую Марию и ощупал пальцами небритое, осунувшееся лицо. Еще несколько минут назад он думал только об одном: как спасти жизнь себе и своим бойцам. А теперь уже страдал от осознания того, что не может привести себя в порядок.

– Я тоже так думаю. Добывай форму, добывай оружие... И учись воевать. Не маршировать и глотки драть, а воевать. По-настоящему. Только вот... – замылся Крамарчук, – спросить хочу, лейтенант. Я видел тебя в атаке. Слышал, как ты с ними по-немецки. В доте мы потом много говорили о тебе. И все сошлись на том, что ты не простой взводный. Что тебя специально готовили... Ну, чтобы остался в тылу фашистов. Вот как немцы готовили своих бранденбуржцев... – Он умолк и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

– Я готовился к этому с детства, сержант. Но не будем уточнять... – Громов вдруг подумал, что легенда, которую Крамарчук вынес из дота, сможет сослужить ему неплохую службу. Не сейчас, конечно, а потом, когда вокруг них соберется еще десяток-другой окруженцев. Растерянных, измученных... Офицер, которого специально подготовили и оставили в тылу, чтобы он собирал окруженцев, освобождал пленных, налаживал партизанскую борьбу... зачем разрушать такую легенду? За таким офицером пойдут. С таким не будут трусить. Обдумав все это, он, неожиданно даже для самого себя, добавил: – А в общем, ты молодец, сержант, что понял это... И поскольку нам с тобой еще воевать и воевать, скажу... меня действительно готовили – и не меня одного, конечно... А потом разбросали по дотам, гарнизонам, частям. Вдоль всей границы...

– Мог бы и не сознаваться, – довольно ухмыльнулся Крамарчук. – Раз уж до сих пор молчал.

– Обстановка, видишь ли, другой была.

– Ну а что сказал – спасибо... Доверяешь, значит. Впрочем, я и так все давно понял. Вспомни Рашковского, командира маневренной роты, – сказал он, уже спускаясь вслед за лейтенантом и Марией с холма. – Я же слышал, как он просил твоего подтверждения. И знаю, что ты дал ему...

– Да, войну люди встречают по-разному. Воевал Рашковский вроде бы неплохо, но, видно, нервы сдали. Захотелось уцелеть. Любой ценой уцелеть. А это уже первая ступень трусости. Которая очень часто становится последней. Кстати, фамилию мою забудь, – воспользовался ситуацией Громов. – Ты, Мария, тоже. Отныне для вас и для всех остальных я буду Беркутом. Как и там, в доте. По крайней мере, так называл меня комбат.

22

В камере Гордаш коротко рассказал о том, что произошло, положил свертки с костью и резцами на пол, сам уселся рядом и, обхватив голову, замолк. «Мастер должен думать не о собственной жизни, а о жизни своих творений. Только тогда это настоящий мастер».

– Неужели действительно человеческая? – недоверчиво переспросил пилот, наклоняясь над костью.

– А ты не видишь? – ответил Есаулов, поднимая сверток и осматривая его на свету.

– Что тут видеть? До сих пор человеческой в руке не держал. Из могилы выкопали, что ли?

– Черт их знает, – по-стариковски покряхтывая, спустился с нар младший лейтенант Величан. Он был так избит, что трое суток вообще не мог подниматься, да и сейчас еле двигал ногами. – Может, в госпитале взяли. Или где-то в поле нашли. Теперь в полях столько костей, что если бы они могли пускать корни, к следующей весне негде было бы ступить. Ты, монах, за это дело не берись, а кость... она ведь человеческая как-никак. Здесь, в земляном полу, и похороним ее.

Все пятеро заключенных посмотрели сначала на младшего лейтенанта, потом на кость и уже потом, долго, испытываяюще – на Гордаша. Решать должен был он. Однако «монах» молчал.

– Может, они в самом деле сдержат свое слово и две недели не будут трогать нас, – пришел ему на помощь Есаулов. – А здесь резцы, – кавалерист настороженно оглянулся на дверь. Охранявшие их полицаи часто подслушивали под дверь. – Можно попытаться сделать подкоп.

– Как только мы его сделаем, так сразу ты нас и заложишь, – парировал Величан. – Ты ведь к ним собрался.

– Не к ним, а спастись от смерти. Это разные вещи, казаки-станичники, – спокойно заметил Есаулов. – Хотя власть эта ваша – бесовская. Но если будет возможность бежать на свободу, то на кой черт они мне, твои немцы? Казаку, что цыгану – конь да волюшка.

Они все еще спорили, а Орест лег на нары лицом к стене и, сжавшись в огромный неуклюжий ком, лежал там беззвучно и недвижимо, пытаясь хоть на какое-то время забыться, отдохнуть от всего, что приносило ему страшное бытие обреченного пленника.

Так прошло несколько часов. Заключенные вдоволь наспорились, разошлись по своим нарам и постепенно утомонились. Кость все еще лежала на полу, однако Гордаш пытался не вспоминать о ней. Он проклинал лейтенанта всеми известными ему проклятиями, но какая-то неведомая сила все же согнала его с нар и подвела к «материалу» и резцам. Уселся над ними, отрешенно втупился в кость и замер, сдерживая яростное желание схватить ее и хотя бы раз пройтись резцом. Хотя бы раз!

В конце концов не сдержался, взял кость в руки.

– Я вырезал бы из тебя... если бы ты меня простил, – прошептал он, обращаясь к духу того, чья кровь еще недавно омывала эту кость. – Я бы вырезал из тебя «Обреченного», который перед казнью рвет веревки... Чтобы умереть свободным.

– Слушай, Есаулов, отбери у него эту кость, не то он сойдет с ума, – устало попросил пилот.

– Не я давал ее, не мне отбирать. – И тоже смотрел на Гордаша так, словно видел его впервые в жизни.

Однако Орест не обращал на них внимания. Решение должно было зависеть от его мыслей, его убежденности, совести – и посторонних это не касается.

– Пусть бы действительно смотрели на это творение и ужасались. В лучших музеях мира – ужасались. Через много лет после войны. И знали, на что способны люди, растерявшие в себе все человеческое.

– Вот увидите, он вымудрит из этой кости такого же человечка, как из липы, – сказал единственный гражданский среди них, старик-бухгалтер, которого немцы заподозрили в том, что он агент НКВД, оставленный для диверсионной работы. – Чтоб в меня стреляли, я бы не дотронулся до нее.

– Если бы я знал, что из моих костей кто-нибудь нарежет таких человечков, – не так страшно было бы ложиться в яму.

Целый день Гордаш просидел над своим «Обреченным», отстраненный от всего, что происходило в камере, в коридоре тюрьмы, во дворе. Боялся, что под вечер часовой отберет инструменты, однако им всем принесли довольно сносный ужин, каким никогда раньше не кормили, а потом еще повесили на стену вторую керосинку и подсвечник с двумя свечами, приказав работать всю ночь.

Но как только полицейай, принесший свечи, закрыл дверь, Орест метнулся под свои нары и принялся разгребать пол тыльной стороной резца. Он знал, что забор проходит всего в метре от стены их тюрьмы и, пробившись под ним, они сразу же оказались бы на свободе. Невольник, который до сих пор покорно и молчаливо нес свой крест обреченного, вдруг ожил в Гордаше, взбунтовался и разрывал кандалы.

На следующий день никого из камеры на допрос не водили и вообще тревожили только тогда, когда приносили еду. Причем мастеру – двойную порцию. А еще, меняясь, часовые приоткрывали дверь камеры, довольно вежливо интересуясь, скоро ли он завершит работу. Им приказано было докладывать. А Гордаш, действительно, с утра до ночи работал над своим творением, в то время как другие заключенные, сменяя друг друга, поспешно делали подкоп, утрамбовывая извлеченную землю под нарами, по углам и вдоль стен.

А через две недели, поздним вечером, когда у «Обреченного» наконец начали зарожаться первые черты изможденного лица, когда на едва зримых мышцах его уже просматривались грубые шрамы веревок, первый заключенный успел протиснуться по подземелью и оказаться на пустыре за оградой.

Но прежде чем и самому раствориться в спасительном мраке вечерней вольницы, Гордаш в последний раз схватил резец и с яростью исковеркал то, над чем так тяжело работал и чему так никогда и не суждено было стать творением искусства.

23

Дот Шелуденко оказался невзорванным, и Громов решил, что лучшего места для ночлега им не найти. Неподалеку от дота чернели два могильных холма. Один был увенчан грубо сколоченным крестом, на котором висела немецкая каска. На другом не было ничего. Именно под этим холмом, очевидно, и покоились сейчас гарнизон дота и бойцы из группы прикрытия.

Они молча постояли возле могилы, отдавая дань памяти павшим. Громов попытался вспомнить лицо майора Шелуденко, но оно не являлось ему. То есть он вроде бы и вспоминал, но почему-то по частям: усы... морщинистый лоб... густые седоватые брови. А еще... «Петрушка мак зеленый...» Аляповатая шелуденковская присказка. Но мужик вроде был ничего...

«Мужик вроде ничего...» – это все, что, по скупости своей словесной, лейтенант мог сказать сейчас на могиле батальонного, с которым он и виделся всего два-три раза по несколько минут.

– Помянуть бы вас, хлопцы, да нечем, – вздохнул Крамарчук, первым отходя от могилы. – Где-то и наши будут лежать вот так же. Если, конечно, немчура решится распечатать их могилу.

– Вряд ли, – ответил лейтенант. – Они и забетонировали-то нас для острастки. Мол, каждого, кто не сдастся, ждет такая же страшная смерть. – А увидев, что Крамарчук направился к доту, крикнул:

– Стоять! Я сказал: стоять!

Тот остановился и непонимающе посмотрел на лейтенанта.

– Ты же видишь: не тронули. Значит, могли заминировать. Чтобы окруженцы не воспользовались. Лучше я сам осмотрю осторожно. А вы пока пройдитеесь. Любое оружие, патроны, гранаты, штыки – все сюда, все может пригодиться. Да и ты, сержант, без оружия как-то не смотришься.

– Только осторожно, командир.

Крамарчук ушел, а Мария задержалась.

– Оставь его, Андрей. А вдруг там и вправду мина? Лучше где-нибудь здесь побудем.

– Отойди и подожди меня. Все будет нормально. Вряд ли здесь минировали, это я так, подстраховываюсь.

Внимательно осматривая окоп, Громов осторожно приблизился ко входу и заглянул внутрь. Заходящее солнце едва пробивалось сюда. Несколько снарядов, очевидно, легли возле самых амбразур, и они оказались полужасыпанными.

Постепенно лейтенант обошел все отсеки. Ни тел убитых, ни оружия. Лишь бесконечное множество гильз – на полу, в нишах, на нарах. В одной из ниш он нашел чудом уцелевшую керосиновую лампу. Зажег ее и снова заглянул в спальный отсек. Там все было перевернуто и разгромлено. На полу валялось несколько обгоревших, расцвеченных бурыми пятнами одеял. Очевидно, прежде чем ворваться сюда, немцы сначала забросали отсек гранатами. К одеялам Громов не притронулся, опасаясь, как бы под ними не оказалось растерзанного тела. Во всех отсеках дота витал чадный запах пороха, крови и смерти.

Лейтенант нашел две винтовки, но у одной был расщеплен приклад, другая оказалась без затвора. В эту, целую, он вставил затвор и прихватил ее с собой – еще могла пригодиться. Куда более ценным трофеем оказались завалившиеся в разорванном вещмешке две банки консервов. Была там и черствая, покрытая пылью буханка хлеба. Но взять ее Громов не отважился.

– Пошли отсюда, Мария, – сказал он, буквально выскакивая из дота, – где-то здесь неподалеку было одно тихое местечко. Майор показывал.

– Смотри: там, под глиной, что-то лежит.

Это был ручной пулемет. Упавший рядом снаряд, очевидно, накрыл его взрывной волной вместе с пулеметчиком. Солдата откопали, а оружие его не заметили.

Вдвоем с Марией они очистили пулемет и ленту. Пошарив в глине, Андрей обнаружил еще и колодку с нетронутой лентой.

Неизвестно, что там выудит в лесу Крамарчук, но что искали они дот не зря – это уже ясно. Сержант пытался убедить Громова, что нужно идти к ближайшему селу, попроситься

в крайнюю хату или переночевать где-нибудь в сарае. Его тянуло поближе к селу, к жилью, но Громов понимал, что появляться сейчас у любого села без оружия равносильно самоубийству.

– Ты ничего не говоришь, Андрей. Но мне нужно знать. Что теперь будет со мной? Что я должна делать?

– Я думал об этом, Мария, думал. Пока переночуем здесь. Из какого ты села? Извини, забыл.

– Родом? Из Гайдамаковки. Но это далеко отсюда, километров за пятьдесят. А работать пришлось в Брацлавке.

– Значит, ни в одной, ни в другой деревне показываться тебе пока не стоит. Где-нибудь вблизи у тебя есть родственники? Или подруга, знакомая? Возможно, вспомнишь кого-нибудь из лечившихся в вашей больнице.

– То есть ты не хочешь, чтобы я оставалась с вами?

– Тебе нельзя оставаться с нами, Мария. Твоя мобилизация кончилась. Части нет, армия отступила. Ты свой долг выполнила. Все, что будет происходить дальше, это уже не для твоей девичьей судьбы. Тут пошли сугубо мужские «развлечения»: лесные лагеря, засады, облавы...

Облюбованное когда-то майором местечко между валунами посреди ельника осталось нетронутым. Еловые лапы, высохшая трава, обкуренная дымом костров шинель... И ни одной воронки рядом, ни одного следа пуль на камнях. Неужели те, кто прочесывал лес и хоронил убитых, даже не обнаружили этого убежища? Впрочем, на что здесь обращать внимание?

– Нет у меня здесь никого, Андрей, – сказала Мария, когда они оказались у этих валунов.

– Это неправда. Ты работала в этих местах два года. Или я что-то не так понял из твоих рассказов? И не может быть, чтобы ни в одном из сел у тебя не оказалось знакомых.

– Если немцы узнают, что я была медсестрой в доте, они растерзают меня...

– Это понятно. Поэтому я и не хочу, чтобы ты оставалась в городе или в пригородах. Там, за лесом, есть какое-нибудь село?

– Гродничное. Но в этом селе у меня тоже никого нет.

– За ночь должны появиться. Не в Гродничном, так в соседнем, – жестко посоветовал Громов. – А на рассвете я провожу тебя. Постарайся прижиться в селе. Подружиться с хозяевами, соседями. Скажем, что больницу ты оставила вместе с фронтом. Но сейчас вернулась, ищешь работу. Словом, что-нибудь придумаем.

Где-то в глубине леса вдруг разгорелась стрельба. Трехлинеек было немного, три-четыре ствола, и выстрелы их становились все реже и реже. Зато трескотня шмайсеров нарастала.

– Подожди здесь, – сказал Андрей, хватаясь за автомат. – Я сейчас. Видно, немцы прочесывали лес и обнаружили окруженцев.

Он пробился через густой ельник, проскочил довольно большую поляну, но за первыми же кустами наткнулся на Крамарчука.

– Что за стрельба, сержант?

– Километра за два отсюда. Похоже, что наши отходят в глубь леса. Мы им уже ничем не поможем. – В руках у него Громов увидел кавалерийский карабин. Карманы оттопыривались от лимонок. На поясе висел немецкий штык-тесак.

По инерции они еще метров на двести углубились в лес, но стрельба неожиданно затихла. Последнюю точку в этой лесной трагедии, наверно, поставил взрыв гранаты, который они услышали. Очевидно, немецкой.

– Хороший карабин, но всего два патрона, – первым повернул назад Крамарчук. Говорить о том, что произошло в лесу, им сейчас не хотелось. – Правда, разжился на две лимонки.

– Съестного ничего?

Крамарчук молча повертел головой.

– Зато я раздобыл две банки консервов. Последний гостинец майора Шелуденко.

Мария уже спешила им навстречу, и Громов подумал, что она то ли боится оставаться одна, то ли опасается, что они просто-напросто решили оставить ее, чтобы окончательно избавиться, как от обузы.

– Теперь-то ты все поняла, медсестра? – строго спросил Громов, кивая в сторону леса. – И еще неизвестно, что здесь будет завтра. С нами. Похоже, что фашисты окружили этот лес постами, да еще и время от времени прочесывают его. Впрочем, по науке так и должны...

– По какой науке? По науке войны, что ли? – растерянно переспросила Мария.

– Да, по ней. Наверное, самой древней из всех существующих в нашем цивилизованном обществе. Не знаю только, стоит ли этим гордиться? Вот так вот, медсестра...

– Ты можешь хоть раз назвать меня по имени? – вдруг вспыхнула Мария, нервно забрасывая за спину распущенные волосы, в которых, уже кое-где серела пока еще едва заметная седина.

– Так вот, медсестра, – продолжал Андрей, – чтобы уже закончить наш разговор... Со временем мы разыщем тебя. Нам нужна будет крыша, нужны продукты, медикаменты... Важно будет знать, что происходит в вашем и в соседних селах. А еще ты постарайся вернуться в больницу. То ли в ту, в которой работала, то ли в другую. Все остальное я объясню тебе потом. Крамарчук, сейчас мы перекусим, и нужно основательно почистить пулемет. Он нам будет очень кстати.

– Странно, – почти прошептала Мария.

– Что? – насторожился Громов. – Что странно?

– Там, в доте, все как-то было по-иному. И проще, и человечнее.

– Ты напрасно обиделась, Мария. В доте действительно все было по-иному. Но ведь действовать мы должны исходя из ситуации.

– «Действовать, действовать!..» – передразнила его Мария. – Тоже мне... вояка бессердечный!

24

Ночь выдалась теплой, сухой, настоящей на запахах сосны, ельника и лесных трав. В этот укромный уголок, который война чудом обошла стороной, не способны были проникнуть ни гарь пожарищ, навеваемая ветром из городка, ни трупно-пороховая чадность дота, да и само воспоминание о недавно пережитых ужасах казалось воспоминанием о давнем кошмарном сне.

Громов и Крамарчук коротали эту ночь, устроив себе постель между огромным валуном и еще теплым кострищем. Марии же отвели лежанку майора, утепленную двумя шинелями, принесенными Громовым из дота.

– Знаешь, комендант, мне почему-то кажется, что это наша последняя ночь, – неожиданно заговорил сержант, хотя Громов был уверен, что он уснул.

– После ада, из которого нам удалось вырваться, тебя еще могут посещать такие предчувствия? Это страх, Крамарчук, обычный страх. Наоборот, мне кажется, что, вырвавшись из подземелья, в котором нас по существу похоронили, я окончательно потерял это чувство. Ярость – да, ярость появилась. Да кое-какой опыт. Надо учиться воевать, сержант. Воевать нужно учиться.

– Может, тебе больше повезет. Ты и опытнее, и сильнее. И наверняка удачливее. Но у меня на душе почему-то тяжело. Как думаешь, немцы уже сумели перейти Буг?

– Не должны. Вполне возможно, что их держат именно на Буге. Где-то же их должны остановить. Мы ведь дали частям возможность более-менее спокойно отойти. Как бы там ни было, здесь, на Днестре, мы подарили многим из них по крайней мере сутки. Почему ты спросил об этом?

– Да так... Вспоминается всякое...

– Все будет нормально. Воспоминания – потом. Спать.

Спал Крамарчук или только притворялся, это уже не имело никакого значения. Он молчал, и Громов тоже затих. Он не хотел вспоминать. Хотя вспомнить есть что. Воспоминание – это последнее убежище человека, спешащего укрыться от того, что ему нужно пережить и решить сейчас. Удобное, уютное убежище. Многих оно спасает от отчаяния, даже от самоубийства, возможно, кому-то придает силы или хотя бы дает возможность передохнуть от страха. Однако он в таком убежище не нуждается.

Дот, словно бурно прожитая жизнь, остался позади. Сегодняшний день он подарил себе и двоим спасенным бойцам для передышки. Но завтра надо решать, что делать дальше. Где сейчас находится линия фронта – об этом можно узнать только от немцев. Он хотел бы также намного больше узнать о том, что собой представляют эсэсовцы, каково их положение в армии. Насколько ему было известно, эсэсовцы считаются армейской элитой. А значит, офицеры-эсэсовцы вне подозрения. Заполучить бы эсэсовскую форму и документы... Вряд ли он смог бы надолго и серьезно внедриться в войска. Но использовать форму и знание языка в каких-то отдельных операциях – это он сумеет.

Раздумья его прервал треск веток. Громов прислушался. Еще треск. Едва слышимое покашливание. Кто-то проходил совсем рядом, по кромке зарослей, в которых они спрятались.

Лейтенант подхватил автомат и, неслышно ступая, начал пробираться навстречу идущему.

– Стой, кто идет?!

Тот, кого он окликнул, очевидно, метнулся в сторону и замер.

– Ни с места, буду стрелять, – уже громче предупредил его лейтенант.

– А ты кто? – послышался в ответ густой бас.

– Я... лейтенант Красной Армии, – представился Громов, несколько помедлив. – Подойди сюда. Тебе нечего бояться.

– Свой, что ли? – прохрипел бас, и через минуту на освещенную луной полянку вышел невысокий, довольно широкоплечий, грузный человек.

– Брось оружие! – приказал Громов, все еще стоя за елью.

– А я его, чтоб ты знал, давно бросил. И тебе советую.

– Окруженец, что ли?

– Хрен его знает, кто я теперь, – устало ответил тот. – Такой же, как ты. Если, конечно, ты действительно лейтенант.

– Один пробираешься?

– Один. Спички у тебя есть? Костер нужен. На мне сухой нитки не осталось. Из-за Днестра я.

– Из-за Днестра? Вплавь, что ли?

– Нет, птицей сизокрылой... Бревно какое-то выручило. А видел бы ты, сколько мимо меня трупов пронесло! Не река, а судный исход мертвецов.

– Что там, комендант? – услышал их разговор Крамарчук.

– Разведи костер. Вроде свой. Ваша фамилия? Звание?

– Может, тебе еще и честь отдать? – зло проворчал пришлый, проходя мимо Громова. – Во фронт вытянуться, а, лейтенантик? Небось, прямо из училища – и на парад? А я свое отмутил. Красноармеец я. Готванюк – фамилия. Если тебе так уж интересно.

– Говори тише, – цыкнул на него из темноты Крамарчук. – Медсестра тут с нами. Спит. И не ворчи, отвечай, что спрашивают. Перед тобой командир.

– Ага, ты меня еще на гауптвахту посади, – отрезал Готванюк. – Да разведи ты костер, у меня душа отмерзает. И все прочее – тоже.

Пока Крамарчук разводил костер, а Готванюк снимал с себя сапоги и одежду, Громов пошел проведать Марию. К счастью, голоса не разбудили ее. Шинель, которой он укрыл медсестру, сползла, Мария лежала на спине, слегка изогнув стан и широко раскинув руки. Почти так же, как там, в ущелье, на камне. Лунное сияние разбивалось о нависший над ней валун, и поэтому лица Марии лейтенант разглядеть не мог. А хотелось.

Мучительные дни, проведенные ими в подземелье, никого из них моложе и краше не сделали. Но все же Мария всегда казалась ему удивительно красивой.

Не потерять бы эту девушку, спасти ее. Самому дожить до победы. О нет, это невозможно. Такое везение почти невысказуемо.

Громов укрыл Марию шинелью и прилег рядом. Теперь лица их почти соприкасались. Какое-то время Громов лежал затаив дыхание, потом, немного осмелев, благоговейно провел рукой по груди – это почти непреодолимое желание коснуться груди появилось еще тогда, когда видел ее лежащей на камне – и ощутил, как, будто откликнувшись на едва уловимое прикосновение, девушка вздрогнула всем телом и, покоряясь тому, что померещилось ей сейчас во сне, подалась вперед, навстречу его руке.

Еле сдерживая волнение, Андрей нервно посмотрел в ту сторону, откуда потянуло дымком (еще не хватало, чтобы Крамарчук застал его вот так, лежащим возле медсестры), и в предчувствии чего-то таинственного лизнул шероховатым непослушным языком потрескавшиеся, почти бесчувственные губы.

Там, в доте, чувство особой, уже даже не мужской, а сугубо солдатской солидарности подсказывало ему, что он не имеет права ни на какие проявления чувств, ни на какие особые отношения с этой девушкой. Андрей помнит, как в день ее появления в гарнизоне, проходя мимо него и Кристич, самый молодой и, пожалуй, самый смазливый в их гарнизоне, Рондов, совершенно не смущаясь ни командира, ни медсестры, пропел: «Эх, прислали бы еще парочку таких для полного милосердия! Ведь милосердие – это когда или всем, или никому».

При этих воспоминаниях Громов улыбнулся и, нежно отведя с лица Марии растрепавшиеся волосы, поцеловал ее в заглубившиеся, чуть-чуть сладковатые губы.

– Что? Что?! – встрепенулась Мария, но лейтенант придержал ее за подбородок.

– Все нормально, Мария, все нормально, – прошептал он. Сейчас он не чувствовал себя скованным святостью гарнизонного «милосердия». – Это я.

– А, ты, Андрей? Уже надо идти? – пролепетала она, все еще не в состоянии вырваться из сна.

– Да нет, рановато.

– Ты только не тронь меня... А так, полежи рядышком...

– Божественная мысль.

Лейтенант погладил ее по щеке, и Мария невольно потянулась к нему в ожидании поцелуя. А когда Андрей прикоснулся губами к ее губам, прошептала:

– Теперь я поняла, что это... было на самом деле. Ты ведь уже целовал меня? Только я решила, что приснилось.

– Точно, приснилось.

– Э, нет, – мечтательно улыбнулась она. – Было, было. Теперь я поняла. Страшно мне, Андрей, оставлять тебя здесь... И самой оставаться без тебя. Мне почему-то кажется,

что уцелели мы в доте только потому, что были вместе. Нас оберегала наша с тобой судьба. Но стоит нам разлучиться, стоит только хотя бы на один день...

– Не надо об этом, Мария. Все равно утром придется отвести тебя в село.

– Опять «не надо»? Мы ведь и так никогда ни о чем не говорили.

– И правильно делали. Окруженный, расстреливаемый дот... О чем там можно было говорить, какие планы строить?

– Знаешь, мне казалось, что этот ужасный дот будет сниться всю жизнь. А сейчас, в первую же ночь, приснилось что-то такое... Странное, про любовь. Удивительно устроен человек: еще утром я была на волоске от смерти, а вечером уже такое снится... хоть сразу в монастырь, грехи отмаливать.

Андрей обнял ее, нежно поцеловал в губы, в шею... но Мария уперлась руками в его грудь.

– Нет, нет, нет!.. – яростно прошептала она. – Что ты?! Я же не к тому сказала, чтобы...

Объяснить Марии, что он тоже «не к тому», у Громова просто не хватило выдержки. Он резко поднялся и, бросив на ходу: «Поспи еще, разбужу», – пошел к двум небольшим кострам, между которыми было развешено обмундирование Готванюка. Сам Готванюк сидел в гимнастерке Крамарчука, без брюк и без кальсон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.